Памяти Александра Зиновьева

Константин Крылов

SHOUT
SHARE
IT

- Константин Крылов
  -
  - Приложение
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19

Константин Крылов
Памяти Александра Зиновьева

Вся моя жизнь была протестом, доведенным до состояния бунта, против общего потока современной истории.

Александр Зиновьев

Давным–давно, в Советском Союзе, вечером, в маленьком букинистическом магазинчике, что возле памятника Ивану Фёдорову (теперь там модная лавка), я стоял у прилавка и ждал, пока мне принесут отложенный по договорённости первый том бремовской «Жизни животных».

От скуки я пролистывал старый университетский сборник, выпущенный кафедрой логики. Сборник был, даже по моей тогдашней молодой всеядности, неинтересный: что–то по многозначной логике, обязательный Войшвилло и т.п. В пресном тесте оглавления, однако, нашлась своя изюминка: маленькая, странички на четыре, статейка какого–то Зиновьева под названием «**Решение парадокса Зенона Элейского и доказательство существования неделимых элементов пространства и времени**». Удивляла прежде всего наглость автора: ишь ты, «решение парадокса», перед которым почтительно склонялись великие умы и всё такое. Я было начал листать книжицу, но тут вынесли обещанного Брема. Он оказался дороже, чем предполагалось, так что после всех расчётов у меня осталось рубля два. Сборник стоил «рупь пясят», но оставаться с полтинником на весь оставшийся вечер не улыбало. С сожалением я отложил сборничек на неопределённое потом: «попадётся — возьму».

Где–то через месяц–другой та же фамилия — Зиновьев — всплыла в разговоре на околополитические темы. Речь шла о каком–то литераторе, вроде Войновича, который написал чуть ли не десять томов антисоветских сатир и ещё нарисовал Брежнева в виде жабы, за что его турнули отседова, — кажется, в Германию. Разговор вертелся вокруг того, является ли этот Зиновьев родственником того самого Зиновьева–Апфельбаума, рулильщика Коминтерна, которого вместе с Каменевым «чпокнул усатый», как было принято выражаться в культурной среде. То есть спор,

собственно, шёл только о степени родства: в самом факте никто не сомневался. Я слушал без интереса: мало ли в русской культуре Апфельбаумов… Разумеется, автор статьи про парадокс Зенона мне и на ум не пришёл.

Третий раз фамилия выскочила уж не помню когда и при каких обстоятельствах. Речь шла о диалектической логике, которую я тогда считал типичной совчинной махрой, заниматься которой могут только люди, себя глубоко не уважающие. Товарищ, которому я всё это изложил, начал ссылаться на какого–то Зиновьева, который написал офигенную книгу по марксову «Капиталу», на всякий случай запрещённую к публикации. Я посмеялся: советские уже до того охерели, что зажимают свою же «диалектику». Впрочем, я допускал ещё, что «запрещённая книжка» оказалась слишком идиотской даже для всеядной советской профессуры. Мой оппонент стал горячиться и доказывать, что Зиновьев тот велик — и в качестве аргумента сослался на его знакомство с «самим Мамардашвили и Пятигорским». Тут уж акции неизвестного мне Зиновьева упали ниже плинтуса: «великого грузинского мыслителя» я ещё тогда считал обыкновенным прохиндеем, выезжающим на акценте (тогда любой нерусский акцент в устах гуманитария воспринимался восторженно — особенно «европейский» прибалтийский, но грузинский тоже котировался), свитере и трубке. Мысленно записав Зиновьева в ту же мишпуху, я выбросил его из головы.

Представьте моё удивление, когда я, наконец, узнал, что все эти трое — один и тот же человек.

I

Вопреки ожиданиям, Александр Александрович Зиновьев никаким боком не принадлежал к советской элите, настоящей или одной из бывших. Во–первых, он был русским. Во–вторых, из крестьян — настоящих, а не анкетных. Он родился 29 октября 1922 года в деревне Пахтино Чухломского района Костромской области. Тут достаточно одних названий, самого их звучания: Пахтино, Чухломской район, Кострома — архетипическая «глубинка». Был он шестым ребёнком в большой семье. Отец, Александр Яковлевич, был «с ремеслом в руках»: малярничал. Мама, Аполлинария Васильевна, — «по дому работала», ну какое ремесло может быть у крестьянки, щи варить да детей рожать.

Мальчик учился в сельской школе, которая была ему явно

мала: когда его одногодки учились в третьем классе, он уже был в пятом. Учитель говорил — «в Москву бы мальца», «у парня есть искра Божья».

Толку от того, правда, было немного. Жили Зиновьевы хреново даже по тогдашним деревенским меркам. К тому же годы шли известно какие, так что смышлёному пареньку светила обычная участь головастого человека в ситуации блокированных социальных лифтов: либо соседский донос, либо раннее пьянство и смерть под забором. Отец, однако, вовремя почуял, чем пахнет, и приложил усилия к тому, чтобы перебраться в Москву, выгрыз себе местечко. Это было дальновидно. Примерно так же поступил мой собственный дед, воспитанник колонии Шацкого, впоследствии инженер–конструктор. Собственно, весь немногочисленный класс нынешних *русских интеллектуалов* примерно так и образовался: кого ни возьми, дед откуда–нибудь вовремя смылся.

Саша перебрался к отцу поперёк мамы и других детей, сразу вслед за братом Михаилом. Ему надо было поступать в московскую школу.

Москва ему не понравилась: серый, грязный, мокрый, обманный город. Потом, в 1971 году, он напишет о Москве одно из своих самых злобных и блестящих эссе — о советской Москве как о социальном явлении.

Жили опять плохо: уплотнёнка–коммуналка, сырая клетушка два с половиной на четыре. Ели дрянь, нищенствовали. Отец Саши был абсолютно непрактичным человеком — не умел рассчитать средств, не умел готовить (однажды разжился курицей и сварил её с потрохами и перьями, на потеху соседям). Саша взял на себя хозяйственную часть. Математические способности пригодились: это помогало экономить деньги. «Гораздо потом», через полвека с гаком, в одном из поздних выступлений он скажет, что, по его наблюдениям, советские кухарки и поломойки и в самом деле более способны к управлению государством, нежели советская номенклатура — поскольку вынуждены напрягать извилины, чтобы уложиться в скудный бюджет.

Так или иначе, Саша устроился в хорошую московскую школу (лучшую в районе), которую и закончил с отличием, нахватав по дороге призов с математических олимпиад. Белобрысый деревенский паренёк с девичьим лицом и неприятным взглядом хорошо решал задачки. Жаль, бумажки с олимпиадными решениями не сохранились. Будущий биограф дорого бы дал за пару таких листочков: это позволило бы определить тип математического мышления Зиновьева, что имеет к его творчеству самое прямое отношение. Могу только предположить,

что он неплохо чувствовал способ построения задач, а из технических навыков — умел видеть экстремальные точки сложных функций, почти интуитивно: «та–ак, функция гладкая, а вот что там в нуле, надо глянуть». Подобный способ восприятия математических объектов очень не любят профессиональные репетиторы, натаскивающие учеников на «думанье руками». Но Зиновьев, я думаю, был именно этой породы — что объясняет, в частности, нелюбовь к нему учителей математики. То же самое хорошо объясняет и ранние литературные амбиции, и специфическое умение рисовать (Зиновьев был прирождённым карикатуристом, что только добавляло ему неприятностей), а также и то, что за чистую математику он всё–таки не взялся, предпочтя ей не очень чистую логику.

Ещё Саша хорошо дрался — в самом прямом смысле, кулаками. Нет, никакими «приёмами» он не владел. Зато он быстро схватил главное уличное умение, блатной кураж: как раскручивать адреналин, не теряя сообразиловки. Более того, именно потому, что он не был гопником, он мог позволить докручивать себя до того состояния, когда тебе становится всё равно, что с тобой будет — лишь бы убить или искалечить того, кто перед тобой. В таком состоянии даже хиляк может уделать качка — хотя бы потому, что отключаются все и всяческие ограничения на причинение вреда, которые на инстинктивном уровне есть даже у последнего подонка. Например, трудно выдавить живому человеку пальцем глаз — даже у записной мрази на этом месте стоит барьер. Но когда местная гопота попыталась Сашу стопануть, он сказал, что вынет глаз первому, кто сунется. Гопа услышала верхним чутьём, чем пахнет от безобидного с виду парнишки, и быренько сдулась. Потом долго ходили слухи, что «Санёк при делах»: в нём почуяли начинающего бандюка. Ошибка, в общем, простительная.

Забегая вперёд: примерно тогда же Зиновьев начал осознанно строить свои отношения с коллективностью — не с тем или иным «коллективом», а с коллективностью вообще. В принципе, его позицию можно было бы назвать крайним индивидуализмом. Сам Зиновьев, однако, это категорически отрицал: он называл себя «идеальным коллективистом», а позицию определял примерно так: «я признаю достоинства и правду коллектива, но не дам ему меня съесть, лишить индивидуальности, — для его же, в конечном итоге, блага». Позиция, надо сказать, вполне *диалектическая.* В этом смысле его позднейшие занятия диалектической логикой были абсолютно закономерны и внутренне оправданы: он так жил.

II

В 1939 году, закончив со школой и получив законный «золотой аттестат» (медалей тогда не было), Саша поступил в Московский институт философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского — знаменитый некогда МИФЛИ.

В типовой биографии властителя дум советского разлива на таком месте обычно бывает какой–нибудь затык или помарка: «поступил с трудом, мешало происхождение, как–то выкрутились». Такой эпизод имеется, например, даже в биографии Станислава Лема, всего–то пару лет как побывшего советским человеком, но таки успевшего вкусить прелестей.

В зиновьевском случае всё было иначе. Сам он происходил из настоящей деревенской бедноты, зато этого нельзя было сказать о большинстве его соучеников: заведение было элитное, «для своих». Оно, собственно, было создано в тридцать первом именно как загончик для отпрысков советской элиты, желающих получить хорошее гуманитарное образование (преподавали в институте уцелевшие университетские профессора). В сорок первом МИФЛИ отправили в Ашхабад, а там сталинским указом вернули в лоно МГУ, но в конце тридцатых это было что–то отдельное. Конкурс — двадцать человек на место. К тому же Зиновьеву ещё не было семнадцати, требовалась райкомовская характеристика, которую ему не дали. Прорывался Зиновьев на общих основаниях, блестяще сдав экзамены.

Ещё один живучий мемуарный сентимент: воспоминания о каком–нибудь мамином крестике на шее, который пришлось снять. Здесь у Зиновьева тоже не было особых беспокойств: он с детства был атеистом, убеждённым и последовательным. Здесь он следовал семейной традиции: отец его оставил веру в Бога ещё в юные годы. Мать была формально верующей, но к обрядности относилась равнодушно, считая, что «Бог в душе». Саша снял с себя крестик в четвёртом классе, на медосмотре (что, если вдуматься, очень символично) — и больше не надевал его никогда.

Разумеется, как всякий убеждённый и последовательный атеист с сильным умом, он размышлял над теологическими вопросами. И, естественно, пробовал сочинить (точнее, *построить,* как строят базис логической системы) «новую религию» — без Бога, зато с предположением о существовании души и своего рода «духовной дисциплиной». Он сам определял это так: «*Отказавшись от исторически данной религии, я был вынужден встать на путь изобретения новой. Я совместил в себе веру и неверие, сделав из себя верующего безбожника*». Это всё,

впрочем, было позже, во времена «**Евангелия для Ивана**» и «**Жёлтого дома**» (которые когда–нибудь будут прочитаны именно как теологические трактаты; вообще, наследие «умного» атеизма XX века может оказаться востребованным именно для нужд теологии — в качестве строительного материала). Но к православию, церкви и «попам» (иначе он их не называл) Зиновьев всю жизнь будет относиться с нескрываемым отвращением. Слово «духовность» для него было накрепко связано с образованностью, воспитанностью, бытовой гигиеной и отсутствием вредных привычек — то есть со всем тем, что ассоциируется со светским обществом. Советский атеизм он считал чуть ли не единственной «подлинно научной» частью марксистского учения.

Впрочем, отношения с марксизмом у Саши складывались ещё хуже, чем с церковью.

Если религиозной проблематики он до поры до времени просто не замечал, то «красная вера» выпила у него изрядно душевных сил. В детстве и юности он был, в общем, настроен прокоммунистически, особенно в части всеобъемлющего эгалитаризма и ограничения личных потребностей. Это хорошо соотносилось с его личным опытом. «*Я был нищим среди нищих*», вспоминал это время сам Зиновьев — добавляя, что коммунизм как таковой есть идея нищих, неспособных избавиться от своей нищеты. Впрочем, к тому же всегда и сводилась вся «русская духовность» — к попытке голых ограбленных людей как–нибудь согреться друг о друга в страшной, непрекращающейся нужде, в которой веками держат русских.

Но тогда Зиновьев практически не осознавал значимости национального вопроса. Он, конечно, замечал — глаз у него был точный — что его жиркующие одногруппники, живущие при Советах как баре, носят, как правило, какие–то странные фамилии, но особого значения этому не придавал. Нет, его бесконечно возмущал сам факт неравенства кого–то с кем–то, — в стране, в которой всё было принесено в жертву именно идеалам равенства и справедливости. Идеалы эти он принимал всерьёз.

Сейчас это звучит странно. В конце концов, многие другие, разочаровавшись в коммунизме, переживали это как освобождение от иллюзий: болезненное, но необходимое. В случае Зиновьева всё было иначе.

Перед ним было два пути. Отказаться от коммунистических идеалов и поискать другие идеалы. Или признать советский марксизм негодным средством для их достижения и поискать другие средства. Он не сделал ни того, ни другого: первое было для него невозможным, что касается второго, то он довольно рано

пришел к выводу, что последствия реализации любого идеала сводят на нет все достижения. **Социальный мир неисправим: он всегда будет оставаться носителем (более того — квинтэссенцией) зла.**

«Суть моей жизненной драмы, — писал он впоследствии, — состояла не в том, что я разочаровался в коммунистических идеалах. Сказать это — значит, сказать нечто совершенно бессмысленное и пустое. Суть моей жизненной драмы состояла в том, что я необычайно рано понял: следующее воплощение в жизнь самых лучших идеалов имеет неотвратимым следствием самую мрачную реальность. Дело не в том, что идеалы плохие или что воплощают их в жизнь плохо. Дело в том, что есть какие–то объективные социальные законы, порождающие не предусмотренные в идеалах явления, которые становятся главной реальностью и которые вызывали мой протест».

Это тотальное разочарование в социуме как таковом впоследствии дало Зиновьеву очень сильные позиции для его исследования. Но в тот момент оно подтолкнуло его к действиям далеко не академического свойства.

III

Двигаясь дальше по биографии Зиновьева, мы натыкаемся на эпизод, к которому можно относиться по-разному — в том числе и без всякого доверия, равно и без особой симпатии. Ну это уж кто как.

Я имею в виду "подготовку покушения на Сталина", разрешившегося в результате в пламенную антисоветскую речь среди соучеников, арест, сидение в лубянской тюрьме и совершенно не укладывающееся ни в какие рамки идиотское бегство прямо от тюремных ворот.

Сам Зиновьев возвращался к той истории неоднократно — пытаясь, похоже, понять, "как это всё могло с ним случиться". Последний по времени рассказ — в мемуарной "*Исповеди отщепенца*". Судя по негероичности тона и фона, а также и той интонации честного недоумения, которую трудно подделать, на сей раз, Зиновьев был максимально точен, насколько это возможно для человека: фантазии о покушении, разговоры в кругу "юношей бледных" (тогда эта порода ещё не была выведена под корень), план, обретающий черты, решимость — и в последний момент срыв.

Убийство Сталина в те годы было довольно-таки

распространённой мечтой. Как правило, она приходила в голову совершенно определённым людям — русским "из простых", тем или иным способом выбившимся из нищеты и получившим советское образование. Некоторые из них были убеждёнными коммунистами, некоторые — наоборот. Сталина они ненавидели за много чего, прежде всего за коллективизацию, ну и за всю советскую мерзость в целом.

В большинстве случаев потенциальные истребители тирана понимали, что это чистой воды самоубийство, причём мучительное: что делают чекистские следователи с человеческим мясом, заговорщики знали или догадывались. Поэтому в большинстве случаев мечты и разговоры не доходили даже до первых прикидок. Но настроение было если не массовым, то распространённым.

Чтобы не ходить далеко за примерами: судя по семейным преданиям, мой собственный дед одно время строил подобные планы. О том же рассказывал мне брат моей бабушки (я его помню как "дядю Колю"). Дед мой подошёл к делу с технической стороны и в результате решил, что вероятность удачи слишком мала, и не стал браться. Дядя Коля по жизни был побаранистее, но ему повезло: его взяли раньше, за еврейский анекдот. В результате оба выжили — разной ценой — и продолжились в поколениях. От тех, у кого дело дошло до попыток реализации, не осталось ни рода, ни памяти — даже на мушиный след чьей-нибудь мемуарной сноски.

План Саши и его друзей был, в общем, не хуже прочих. Предполагалось выстрелить в Сталина во время первомайской демонстрации на Красной площади, из колонны. Пронести оружие было можно, попытаться выстрелить до того, как схватят и скрутят — некоторых шанс был. Попасть — маловероятно, но не совсем. Убить — при исключительно благоприятном стечении обстоятельств (подобным, скажем, тому, которое сопутствовало Гавриле Принципу и его дружкам из "Чёрной руки"). В общем, понятно.

Характерно, однако, что Зиновьев, планируя вместе с друзьями по институту своё покушение, рассчитывал ещё на какой-то суд, на котором он сможет "высказаться перед смертью". Похоже, мечта об этом самом суде, на котором можно высказаться, и передавила: вместо того, чтобы скрываться и таиться, Зиновьев на курсовом комсобрании бухнул речь по поводу положения в колхозах. Бухнул просто потому, что "дали вдруг слово" — то есть, попросту говоря, сорвался.

Это вызывало вполне понятный скандал и исключение из МИФЛИ. В тот же день мелкий институтский стукач, почуяв

готовую жертву, позвал Сашу "на поговорить", отписался по начальству. Вместо великого дела получилось дело "обычное по тому времени". Правда, пареньку повезло: сразу "в работу" его не отдали — судя по всему, решили взять "весь куст", чтобы не возиться. У тюремных ворот он удрал, воспользовавшись временным отсутствием сопровождающих. Опять же, судя по описанию — не от большого ума, а просто со страху. Дальше мыкался между Москвой и родной деревней, ища прокорма и бегая от арестовщиков.

Это мыканье он потом вспоминал как "главный ужас" — и даже подумывал сдаться чекистам.

Опять же, оценить это могут именно современные русские люди, пережившие девяностые, особенно со специфическим опытом прятанья по Москве и области от каких-нибудь бандюков. Правда, в постсоветской Москве прятаться было проще, но сочетание страха, безденежья и неустройства и в самом деле выматывает — на почти физическом уровне. Правда, Зиновьев, судя по интонациям в тексте, не боялся за семью — похоже, ему не приходило в голову, что его несчастного растрёпу-отца и бедолаг-братьёв могут "взять и примучить" из-за него.

Тем не менее, податься было некуда. Без документов, в насквозь продуваемом мире, Александр кое-как успевал отогреваться по щелям только за счёт безалаберности и скверной работы системы. Рано или поздно он поскользнулся бы на какой-нибудь корке.

Выход нашёлся, причём традиционный, известный ещё со времён средневековья: забриться в армию. Зиновьев пошёл в военкомат соседнего района, наврал что-то насчёт потерянных документов. 29 октября, в день рождения, он явился на сборный пункт. Провожал его брат, купивший ему на дорогу колбасы и буханку черняшки.

Это был сороковой. До начала войны осталось меньше года.

IV

Есть такое русское выражение "*человек заслуженный*". Обычно его употребляют по отношению к ветеранам, передовикам производства, опытным мастерам и прочим таким людям. Очень, кстати, интересное слово: не "заслуживший" (что-то — награду, льготу, почесть — таких не любят), а вот именно что "заслуженный". То есть это он сам в каком-то смысле является наградой, которую мы заслужили.

Ветеран, как уже было сказано — "заслуженный человек". Поэтому в разные времена общество заслуживает разных ветеранов. У нас, в конце концов, в "ветераны" сел лично дорогой товарищ Леонид Ильич Брежнев, что тогда казалось пределом падения. Ага, как же: в девяностые на "ветеранство" Чубайс короновал Окуджаву. То-то стало весело, то-то хорошо.

А вот в пятидесятых-шестидесятых самого слова "ветеран" не было. И "ветеранов" не было. Были фронтовики — люди в линялых гимнастёрках, с характерными морщинами у глаз, аккуратные, хозяйственные, молчаливые. То, о чём надо было молчать, у каждого было своё: война была долгая и хватило её на всех. Но молчать было надо: это они понимали. И даже промежду своих не поднимали неудобных тем — кто же всё-таки пристрелил того политрука, кто подал идею раскатать гусеницами тот немецкий хутор, и прочие детали. Что касается общей части, то ветеранские рассказы больше всего напоминают — если с чем-то сравнивать — байки медиков, но рассказанные с позиции пациента. Не буду, впрочем, развивать эту тему, весёлого здесь мало.

Возвращаясь к Зиновьеву. Ему, можно сказать, повезло: после солдатчины (которую он вспоминал с омерзением) ему выпало сомнительное счастье оказаться в лётной школе, а потом — за штурвалом "Ил-2". Средняя продолжительность жизни пилота штурмового самолёта была десять боевых вылетов. Шансов на плен не было: немцы не брали в плен пилотов штурмовиков, расправлялись на месте. Зато пилоты пользовались известными привилегиями, которые на фронте ценились больше, чем шанс уцелеть: относительно приличная еда, водка, нормальная форма, а главное — отсутствие грязной и изматывающей физической работы. Лётчики были расходным материалом, но элитным расходным материалом. Это самоощущение осталось у Зиновьева навсегда.

После победы в армии стали закручивать гайки. Писаные и неписанные льготы, привилегии и вольности, полагающиеся смертникам, пошли коту под хвост. Зиновьев понимает, что в послевоенную армию он не вписывается и подаёт рапорт об увольнении. Впрочем, он успел пожить в Германии и в Австрии, под Веной. Вена ему понравилась. Ему вообще нравилось всё немецкое — пожалуй, кроме немок: осталась устойчивая ассоциация с триппером, этим бичом армий победителей.

На вольных хлебах пришлось туго. Семья, как обычно, бедствовала, — как и вся страна. Жизнь была не просто тяжёлой, даже не нищей, а хуже чем в войну.

В этих условиях Александр Зиновьев, в недавнем прошлом

геройский лётчик-истребитель, занимался банальным выживанием, сводящимся в большинстве случаев к подхалтуриванию за гроши. Слово "халтура" здесь появляется не случайно: речь идёт именно о плохой работе, даже об имитации работы — и, с другой стороны, о хорошей имитации. Однажды Зиновьев нанялся на кирпичный завод лаборантом, записывать показания приборов. На самом деле никто — ни он сам, ни прочие лаборанты — и не думали снимать настоящие показания. Они фиксировали среднее значение, около которого колебалась стрелка прибора, а мелкие отклонения вписывали в журнал от балды. Думаю, не нужно объяснять, как это повлияло на его отношение к "строгой научной истине", — и почему уже на излёте жизни он так легко принял исторические теории Фоменко.

Он же промышлял подделкой документов, штампов и печатей — традиционное, надо признать, ремесло философов, равно как и фальшивомонетчество.

Относился он к этому "просто" — то есть примерно так же, как и к прочим босяцким ухищрениям, нацеленным на выживание. Надеть носки наоборот, чтобы переместить дырку с пальца на пятку, выменять дрова на картошку, подделать хлебную карточку — всё это входило в общий фон придонного нищего быта, в котором барахтались практически все.

Сунув кому надо пару взяток, Александр Зиновьев делает себе правильные документы и поступает в МГУ на философский факультет — по сути дела, всё в тот же МИФЛИ, только "рождённый обратно".

Обстановка, правда, изменилась

МИФЛИ, как уже было сказано, задумывался как отстойник для потомства ранней большевистской элиты, потихоньку оттесняемой от реальной власти, но тем крепче вцепившейся в остатки кровью добытого статуса. Кое-кто из этой породы пошёл под нож в конце тридцатых или в начале пятидесятых, но в основном они выжили, — все эти гражданские жёны грузинских наркомов, белоглазые племяши латышских стрелков, курчавое семя чекистских живорезов, — да, выжили, сохранили часть добычи, да ещё настругали деток и внучат, которые таки сыграли свою роль и в хрущёвщине, и в диссидентщине, и в горбачёвщине… но это всё было потом. Что касается послевоенных лет, то были кондовые и суровые времена, элитки временно оттеснили в сторону, чтобы не мешались. "В Вольтеры" пошли фельдфебели, самые что ни на есть натуральные. Надо признать, большой пользы делу коммунизма это не принесло — о чём ниже.

Зиновьев вписывался в атмосферу послевоенного МГУ если

не идеально, то, во всяком случае, вполне органично. Он пил, валял дурака, сочинял сходу на экзаменах "марксистские тексты" (что, если освоить стилистику, совсем несложно — как и в случае с любым хорошо выраженным стилем: в наши дни умные студенты тем же макаром сочиняют "за Хайдеггера"), тишком трепался о политике с друзьями. Учился легко: выручала память. В свободное время подрабатывал преподаванием, в результате чего получил возможность, наконец, выехать из жуткого подвала и снять комнату. Жизнь налаживалась — пусть даже как у того бомжа из анекдота.

Дальше произошло вполне ожидаемое. Немножко оклемавшись и слегка откормившись, Зиновьев занялся созданием новой философской дисциплины, которая, по его словам, "охватила бы все проблемы логики, теории познания, онтологии, методологии науки, диалектики и ряда других наук".

V

В горбачёвские времена почуявшие волюшку гуманитарии взяли моду публично ныть на тему "засилья материализма" и "марксистской схоластики". Это всё неправда. Не в том смысле, что засилья не было — а в том, что материализм, марксизм и схоластика здесь были решительно ни при чём.

Впрочем, специфику советской гуманитарной науки лучше всего демонстрировать именно на примере схоластики. Крайне жёсткая интеллектуальная система, стиснутая, как тисками, христианским богословием и аристотелевской философией, породила в высшей степени полноценную философскую традицию. Советский марксизм не породил ничего даже отдалённо сравнимого. На брезентовом поле советской философии не взошло ни одного алюминиевого цветка. Всё, написанное в рамках официоза, было идиотично или просто скучно.

Связано это было с одной маленькой разницей, разделяющей схоластику и советский марксизм. Схоластика была жёсткой системой. Занимающийся богословием всегда ходил по краю, с риском быть в любой момент обвинённым в ереси. Тем не менее, система была ориентирована позитивно: предполагалось, что схоласт ищет истину, уточняет и развивает её, а опровержение лжи является подчинённым моментом. Советский марксизм имел иную природу: он был ориентирован на разоблачение немарксизма или недостаточного, ложного марксизма — и весь

целиком сводился к этому разоблачению.

К собственному своему содержанию советский марксизм старался без надобности не обращаться, чтобы не провоцировать возникновение новых ересей. Всё сколько-нибудь интересное сразу записывалось в идеологически невыдержанное — просто потому, что оно интересно. В этом, наверное, можно усмотреть некое интеллектуальное подобие "народно-православного" представления о грехе: всё приятное грешно и недозволительно уже в силу того, что оно приятно.

Кстати сказать, марксизм — очень интересная, хотя и стрёмная, система воззрений, уж никак не хуже какого-нибудь "ницшеанства". На Западе марксизм был и остаётся старой надёжной кувалдой для "радикальной критики".

Зиновьев тогда всего этого не то чтобы не понимал — но понимать не хотел. Он переживал нормальный этап становления интеллектуала: сочинение "общей теории всего". Это такая умственная хворь типа кори, поражающая личинок интеллектуалов. Настигает она не каждого, но большинство. Потом это проходит.

В зиновьевском случае стадия сочинения "теории всего" (названной им "многозначной логикой" — из конспиративных соображений) оказалась неожиданно продуктивной. Нет, "теорию" он не создал, зато нашёл интересные подходы к тому, что впоследствии стало его знаменитой диссертацией — "**Метод восхождения от абстрактного к конкретному на материале "Капитала" К. Маркса**". Текст диссертации потом ходил в многочисленных копиях в качестве интеллектуального самиздата, наподобие гумилевского "Этногенеза". Впоследствии текст книги пополнил корпус сакральной литературы так называемых "методологов" — философской школы (если хотите, секты), созданной соучеником Зиновьева Г. П. Щедровицким.

VI

На фигуре Георгия Петровича Щедровицкого стоит остановиться хотя бы из соображений интеллектуальной честности. Как-никак, это был создатель единственной за всю советскую историю философской школы («методологии»), которая пережила рубеж девяностых. Правда, пережила как тот попугай из еврейского анекдота про репатриацию — то есть «тушкой». Зато эта тушка и сейчас неплохо смотрится.

Знакомство Зиновьева с Щедровицким началось со скандала.

Щедровицкий покритиковал на комсобрании недостаточную подготовку студентов по Гегелю, на изучение которого, дескать, отводилось две недели, так что приходилось готовиться по учебнику. «И поэтому» — сострил, типа, молодой студент, — «нам не удается читать Георга Вильгельма Гегеля, а приходится читать Георгия Федоровича Александрова (автора учебника по истории философии — *К.К*). И, прочитав Георгия Федоровича, мы потом весело и вольно рассказываем о Георге Вильгельмовиче». Начальству шутка не понравилась, и Щедровицкого решили ущучить. Не по административной линии — не за что было. Но как-нибудь. Тут вспомнили о силе печатного слова: на факультете издавалась своя газетка с макабрическим названием «За ленинский стиль». Сейчас на такое название может, наверное, посягнуть только какой-нибудь бесконечно отвязное андеграундное издание, но тогда это было в порядке вещей. В газете имелся штатный карикатурист. Нетрудно догадаться, что это был Зиновьев.

Опять же нужно учесть контекст эпохи. В те суровые времена «общественная нагрузка» на студента была, во-первых, значительной — то есть забирала время и силы — и, во-вторых, реальной. Те же послевоенные институтские ДНД (добровольные народные дружины) были вполне реальной силой, предназначенной, чтобы гонять расплодившуюся послевоенную гопоту с ножичками. Но даже поездки «на картошку» были выматывающим и грязным занятием. Зиновьев, откровенно говоря, пристроился по фронтовой привычке «поближе к кухне»: рисовать — не мешки ворочать. Ничего низкого и неблагородного в этом, кстати, нет. Люди, имеющие навык выживания (а Зиновьев всю жизнь именно что *выживал*), отлично знают цену любому «облегчению жизни». Что не следует путать с тягой к жиркованию и харчбе, с причмокивающим обгладыванием костей ближних. Такие в советские времена росли по комсомольской линии — с заходом на «освобождёнку». Зиновьев же честно продавал свои умения в обмен на то, чтобы на нём не возили воду и не заставляли заниматься унылой дурью.

Так или иначе, Саше Зиновьеву поручили нарисовать карикатуру на Щедровицкого. Как обычно, начальнички переврали ситуацию с точностью до наоборот: приписали тому нежелание читать Гегеля, а знакомиться с ним по Александрову. Зиновьев карикатуру нарисовал (Щедровицкий, отталкивающий тома Гегеля и хватающийся за Александрова), не пощадив при этом характерной внешности Г.П. — широкоплечего потомка раввинов, ходившего в перешитой отцовской шинели и финской шапке. Щедровицкий случайно зашёл в редакционное помещение,

увидел на зиновьевском столе карикатуру, страшно разозлился — поскольку говорил-то он прямо противоположное — и устроил дикий скандал. Зиновьев пошёл на факультетское партбюро выяснять, как оно там было на самом деле. Секретарем партбюро был тогда Евгений Казимирович Войшвилло, тоже фронтовик, впоследствии культовая фигура (я его ещё застал). Войшвилло заявил, что подтасовок не потерпит, карикатуру печатать не стали. А Зиновьев с Щедровицким сошлись.

Впоследствии Зиновьев вспоминал о Щедровицком мало и неохотно, в терминах «был моим учеником, потом отошёл» (с брезгливой интонацией — «предал по-мелкому»). Щедровицкий, напротив, о Зиновьеве говорил и писал много, а зиновьевский диссер по «Капиталу» ввёл в канон своей школы. Позиция Щедровицкого выглядит в этой ситуации более сильной: зиновьевское «фи», которым он, впрочем, вообще бросался довольно часто, выглядит неконструктивным. Возникает вполне понятный соблазн рассудить дело так, что Щедровицкий «развивался», «ушёл от старых взглядов», а Зиновьев остался при своих. Сам Г.П. никогда не говорил этого прямо, но против такой интерпретации не возражал.

На самом же деле ситуация была иной. Эволюция взглядов имела место у обоих. Но двигались они в противоположных направлениях. Их встреча на факультете была встречей поездов, движущихся по параллельным путям в разные стороны.

На момент встречи Зиновьеву стукнул тридцатник, Щедровицкому было едва за двадцать. Зиновьев прошёл войну, и ходил не в отцовской шинели, а в своей собственной гимнастёрке. Щедровицкий ходил по факультету «восторженным пастернаком», переживающим свою открывшуюся интеллектуальную потенцию как своего рода пубертат и накидывающийся на книжки как на девушек. Ум Зиновьева родился из нужды, из бытовой сметки — и ею же был прибит и покалечен при рождении. «Интеллектуальные восторги» — это было не для и не про него. Наконец, Зиновьев был по сути своей материалистом, а Щедровицкий — наоборот.

Тут придётся пояснить кое-какие моменты. «Основной вопрос философии», по Марксу, конечно, дрянь. Тем не менее, разделение на «материалистов» и «идеалистов» в философии действительно наблюдается — впервые описал его ещё Платон, насмешливо упоминая тех, кто «хватается за дубы и камни, подобно титанам». На самом деле, конечно, всё сложнее.

Если уж на то пошло, то материалистом можно назвать человека, который склонен объяснять свойства вещей свойствами субстрата. Идеалист, наоборот, склонен объяснять свойства вещей внешними причинами. Например, если материалист и идеалист

увидят камень странной кубической формы, то материалист предположит, что это, скорее всего, кристалл, а идеалист — что это, скорее всего, кирпич. (Тютчев говорит о том же самом в своём известном стихотворении о камне, который то ли упал сам собой, то ли был «низвергнут мыслящей рукой»).

Самое интересное, что правым может оказаться и тот, и другой, в зависимости от обстоятельств, и разумные материалисты, и идеалисты это понимают. Тем не менее, склонность *сначала* искать причины внутри вещи, а *потом* уж вовне — или наоборот — действительно существует, «и приходится с ней считаться».

Ещё одно: материализм и идеализм могут быть избирательными. Например, некий мыслитель может быть естественнонаучным материалистом, антропологическим идеалистом и историческим опять же материалистом. То есть считать, что природа развивается по своим собственным законам, но человек — единственное исключение из природных правил, чьи свойства не заданы его телом и инстинктами, зато история — это не «человеческий», а «природный» процесс, вроде геологических, который снова низводит людей до уровня камней или деревьев. А может и наоборот — считать, что Вселенная сотворена Богом, человек — всего лишь животное, индивидуальный разум — всего лишь переразвившийся инстинкт, зато история — единственная стихия, в которой это животное причащается сверхприродой воле Всевышнего… Или ещё как-то: комбинаций идеализма и материализма в уме отдельно взятого философа возможно очень много.

Что касается Зиновьева, то он, в общем, придерживался той позиции, которую я привёл в пример. Он считал физический мир и социум двумя тупыми и слепыми машинами, управляемыми простыми и жестокими законами. Отдельный человек — это точка, в которой мерцает что-то вроде «духа»: он может — в известных пределах — менять законы природы и бунтовать против законов социума. Разумеется, и то и другое возможно делать, только используя всё те же законы. «*Когда люди хотят плюнуть на законы тяготения, они строят самолеты*» — эта фраза Зиновьева точно описывает его позицию по обоим вопросам.

Из этого, кстати, следует, что Зиновьев должен был озаботиться созданием научной теории индивидуального бунта — то есть собиранием, классификацией и теоретическим обоснованием приёмов, позволяющих отдельной личности выйти за пределы законов голой социальности. Начал он примерно там, где впоследствии закончил Солженицын («жить, типа, не по

лжи»), но пошёл значительно дальше. Он сам назвал это «искусство жить» «зиновьйогой», кое-что конкретное описал в книгах «**Евангелие для Ивана**» и «**Жёлтый дом**». Состояло оно в систематическом саботаже социальности при одновременном сознательном использовании её же законов в целях выживания и кое-какого обустройства. Надо сказать, лично ему это удалось. Лауреат престижных международных премий, член (действительный и гонорис кауза) множества российских и иностранных академий, небедный человек — Зиновьев не производил впечатления неудачника. Но позицию «винера», царя горы и победителя тараканьих бегов за успехом он не принимал никогда, равно как и позиции «бунтаря-диссидента» или жителя башни из слоновой кости, парящего над схваткой. Повторимся: **он считал свою деятельность в конечном итоге полезной для того самого социума, который он отвергал**. Это была, скажем так, позиция бойца, действующего «по обстановке» и своё понимание последней оценивающего куда выше любых приказов — особенно если есть подозрения в бездарности или продажности командования.

Позиция эта, разумеется, опасная — поскольку отрыв от социума чаще всего означает включение в другой социум, иногда невидимый тому, кто к нему присоединяется, так сказать, спиной вперёд. Человек, воображающий себя волком-одиночкой, оказывается прикормленным и манипулируемым «полезным идиотом», действующим в интересах какой-нибудь коллективности, как правило, мерзкой. Именно это, к примеру, произошло с большинством советских диссидентов. Зиновьева, кстати, попользовали тоже. Осознал он это поздно — но хоть осознал.

В конце жизни Александр Зиновьев всё-таки пришёл к удовлетворительному решению дихотомии «быть вне общества — действовать в интересах общества». Формула оказалась простой: можно быть *вне социума,* но *вместе со своим народом:* отвергая социальное единство, пребывать в единстве национальном.

Например, в своих интервью он объяснял причину своего возвращения в Россию так: «Мой народ оказался в грандиозной беде, и я хочу разделить его судьбу. С этой целью я и вернулся. Что я могу здесь сделать для моего народа? Я десятки лет работал как исследователь и социальных процессов, и исследователь самого это фактора понимания, о котором я говорю, я много сделал. Я хочу передать это моему народу, по крайней мере, тем, кто хочет это получить от меня и как-то использовать. Вот мое место. Я, конечно, чувствую себя в этом отношении одиноким, но я отдаю отчет в том, что это вполне

естественно. С кого-то, все начинается все-таки с кого-то, с единицы. Пусть я буду этой исходной единицей».

При всей кажущейся эмоциональности, это безупречно логичное рассуждение. В самом деле, современный россиянский «социум» — это тоже своего рода единство, но единство *антинациональное,* то самое, которое Пелевин ехидно описывал как «заговор против России, в котором участвует всё взрослое население России» (добавим, участвует недобровольно и в большинстве случаев не сознательно, но участвует). Зиновьев в России был «со своим народом», но вне «российского общества» — настолько вне, что какой-нибудь бомж выглядел на его фоне куда более вписанным в коллективное тело эрефского «общества», полагающего бомжа своей необходимой частью.

VII

Щедровицкий же был человеком совершенно другого склада.

Во-первых, он начинал с марксизма, причём с марксизма в высшей степени талмудического. Школьником он переписал — пёрышком, от корки до корки — «Капитал» (тем самым бессознательно исполнив мицву: переписать собственными руками Тору). Он долгое время пребывал в убеждении, что ничего более мощного, чем марксизм, человеческий гений не создавал». Впоследствии он сделал исключение для своего собственного учения.

Для Щедровицкого сознание отдельного человека было не точкой свободы, а областью проектирования, строительства, при упрощении позиции — манипулирования. Механизмы индивидуального мышления, по Щедровицкому, являются чем-то простраиваемым, причём в ходе коллективной, по сути, практики.

Что касается отношения к социальности, то Г. П. избрал тактику, прямо противоположную зиновьевской: не уход от социума, а конструирование вокруг себя иного социума, «своей банды», говорящей на своём птичьем языке и живущей по своим правилам. Решение не оригинальное, но эффективное, к тому же Щедровицкий реализовал его с блеском. На этом принципиальной решении — строить свой мир, а потом с его помощью менять мир окружающий — основаны странноватые «духовные практики» Московского методологического кружка: например, «организационно-деятельностные игры», направленные на метанойю, «перемену ума» участников (согласно легенде, игры, на которых ни один из участников не тронулся умом «до

клиники», считались неудачными). Впоследствии, уже после смерти Г. П., ведущие деятели кружка (возглавляемого уже его сыном) в середине девяностых превратились в крупнейшую российскую пиар-группу, промывающую мозги электорату в промышленных масштабах. Они же впоследствии занялись — понятное дело, не самодеятельно, а под заказ — крупномасштабными социальными экспериментами в некоторых российских регионах.

Но это всё было потом. Возвратимся на прежнее и поищем точки сходства.

В ту пору и Щедровицкий, и Зиновьев сошлись в трёх важнейших вопросах: *практически* — о неприемлемости текущей реальности «как она есть» (то есть в «антисталинизме», понимаемом очень широко), *идеологически* — об исторической обусловленности всех форм мышления (то есть в том или ином понимании материализма), и *исторически* — о российском социализме. Сам Щедровицкий описывал консенсус по последнему вопросу так: «Мы оба считали, что социализм, сложившийся в России, носит, по сути дела, национально-русский характер, как ничто более соответствует культурным традициям и духу русского народа и, короче говоря, есть то самое, что ему нужно при его уровне самоорганизации, уровне культурного развития и т. д. И мы оба знали, что миллионы людей находятся в условиях подневольного труда или просто в концлагерях. И все это очень органично замыкалось общим пониманием принципа диктатуры, ее социально-организационных структур». Трудно сказать, разделял ли тогда Зиновьев эту типичную, то есть интеллигентскую и русофобскую, точку зрения. Во всяком случае, Георгий Щедровицкий понимал его так. Что не мешало ему и тогда, и в дальнейшем быть в некоторых отношениях очень советским человеком. Это, в частности, продемонстрировала жизненная траектория Г. П.: в ней было много чисто советских скандалов, выговоров, увольнений, изгнаний (например, в 1968 году его выгнали из партии за подписание письма в защиту Гинзбурга и Галанскова), возникала даже тема самоубийства, но вот вопроса об эмиграции (или о серьёзном политическом конфликте с властями) для него, кажется, не существовало.

Это было связано с разницей в исходных позициях. Щедровицкий вышел из среды творцов и главных выгодополучателей советской революции, а Зиновьев, как русский, принадлежал к её жертвам. Сам Щедровицкий прекрасно осознавал эту разницу в генезисе, разницу определяющую и абсолютную: «Для Давыдова, Ильенкова, Зиновьева, Мамардашвили и для многих других… определяющей

действительностью, куда они помещали себя и где они существовали, была историческая действительность. У меня же это представление о себе было изначальным в силу положения семьи. Я по происхождению принадлежал к тем, кто делал историю».

И ещё одно. Для Зиновьева время «создания теории всего» довольно быстро прошло. Для Щедровицкого оно продолжалось всю жизнь. Если коротко, то он понимал «методологию» как «мета-до-логию». Sapienti sat.

Но, так или иначе, два неглупых человека нашли друг друга. В дальнейшем к ним присоединился Борис Грушин (впоследствии сделавший крепкую советскую карьеру, *выездной,* один из организаторов ВЦИОМа, апологет «первоначального накопления», в 1993 году добравшийся аж до Президентского совета, зато потом ставший «убеждённым антиельцинистом»), а также Мераб Мамардашвили (писать о котором я, пожалуй, побрезгую). С этих четырёх фамилий начался Московский логический кружок.

Несмотря на дворовое происхождение — ну, собрались несколько молодых студентиков-аспирантиков и что-то там промеж собой непонятное крутят — кружок стал событием. У него даже появились конкуренты: «гносеологический кружок» Эвальда Ильенкова. О котором я тоже ничего говорить не буду — не от омерзения, а из жалости. Это был незаурядный человек, в силу своей природы не имевший иммунитета против духа времени. Самым известным его достижением стала статья «Идеальное» в Философской энциклопедии. «И довольно об этом».

Что касается Александра Зиновьева, то он удовлетворяться лаврами автора статьи в энциклопедии явно не собирался.

VIII

Писательские амбиции Зиновьева проявились во время войны. Демобилизовался он с чемоданом рукописей, более или менее законченных. Одну из них — «**Повесть о предателе**» — он показал Константину Симонову и ещё одному товарищу. Симонову рукопись понравилась, и ему стало жаль автора — он понимал, что за это сажают. Поэтому он спросил Зиновьева, давал ли он ещё кому-нибудь рукопись. Тот назвал имя второго. Симонов скомандовал: «Беги и забери». Зиновьев послушался, утащил рукопись прямо со стола и уничтожил. К утру к нему пришли с обыском. Это надолго — но не навсегда — отбило ему вкус к изящной словесности. С тех пор он писал только

философские труды. «**Зияющие высоты**» появились в 1976 году, когда профессору Зиновьеву исполнилось пятьдесят два. Ранним стартом это назвать никак нельзя.

Но мы, как обычно, никак не выдерживаем хронологию — то поминаем диссертацию, то логический кружок, то поздние работы. Пора бы и честь знать.

Так вот. В 1951 году Александр Зиновьев получил диплом с отличием и остался работать на кафедре в аспирантуре. К тому моменту знакомство с Щедровицким переросло в совместную деятельность, Московский логический кружок уже вовсю работал, привлекая неокрепшие умы. Под осторожным покровительством всё того же Войшвилло Зиновьев и компания обсуждали разные интересности. На скучной, как засохшая муха, кафедре логики началась какая-то жизнь. Для студентов того времени Зиновьев — один из кумиров, «борец с догматизмом» (как тогда аккуратно называли легальных диссидентов).

В 1954 он защищает уже упомянутую кандидатскую по диалектической логике, в 1955 — становится сотрудником Института философии Академии наук СССР, где работает год. После он начинает готовиться к докторской, которую и защитил в шестидесятом.

Наступает время социального триумфа отщепенца. С момента защиты докторской диссертации он пишет и публикует серию книг, которые делают ему имя. Последней — или первой по счёту, если брать известность в широких кругах — стали «Зияющие высоты».

Прежде чем приступить к анализу «литературной» (кавычки тут уместны) части творчества Зиновьева, имеет смысл ещё потоптаться на чисто философских его трудах. Достаточно привести список названий — "**Философские проблемы многозначной логики**" (1960), "**Логика высказываний и теория вывода**" (1962), "**Основы научной теории научных знани**й" (1967), "**Комплексная логика**" (1970), "**Логика науки**" (1972), "**Логическая физика**" (1972), "**Нетрадиционная теория кванторов**" (1973), "**Логика классов (множеств)**" (1973), "**Очерк эмпирической геометрии**" (1975) — чтобы понять: Зиновьев был, что называется, «интересным автором».

Разумеется, «интересным» с советской точки зрения, когда просвещённая публика охотилась за томами «Истории античной эстетики» Лосева и взахлёб читала «умственные» статьи в «Литературной газете» (где изредка дозволялось что-нибудь «этакое»: я, например, узнал о существовании Мартина Хайдеггера именно из статейки в ЛГ). Но всё ж по тем временам это было «ново и смело».

Конечно же, Зиновьев был тщеславен. Он брал «горячие» темы и писал о вещах, которые, по его мнению, должны были задеть струны души. Это, в частности, привело его к ряду опрометчивых и даже конфузных шагов: например, к доказательству недоказуемости Великой теоремы Ферма. (На самом деле, насколько я понял, Зиновьев построил вариант логической системы, в рамках которой утверждение, похожее на Великую теорему, и в самом деле недоказуемо). Это своё решение он упрямо публиковал, начиная с 1975 года, несколько раз, в том числе в иностранных изданиях. Интереса это не вызвало: ферматистов в мире хватает… Того же времени были и его разработки в области «логической физики» — давешняя статья о решении парадокса Зенона была как раз из этой серии.

Итак, Зиновьев был «в успехе». Карьера шла вперёд: доктор наук, завкафедрой, старший научный сотрудник, наконец — профессор. В таком положении можно было позволять себе многое, в том числе легальную фронду, благо время подошло (впоследствии Зиновьев назовёт это «временем кукишей», имея в виду интеллигентские фиги в кармане, которыми тогда обзавелись «все приличные люди»). Вокруг профессора вьётся рой студентов и аспирантов, ловящих каждое его слово.

Наконец, Зиновьев женится — на юной стенографистке Ольге Мироновне Сорокиной. К тому времени за плечами у профессора уже был один неудачный брак, но тут всё склалось. Тогда же он, наконец, получает отдельную квартиру, через какое-то время площадь расширяется за счёт квартиры умершего отца Ольги. Наконец, осуществляется мечта всей жизни — собственный кабинет, который тут же становится местом паломничества студентов, учеников и знакомых.

Спустя годы Зиновьев заметит по этому поводу: «*улучшение жилищных условий сыграло огромную роль в нарастании оппозиционных и бунтарских настроений в стране*».

IX

Теперь, наконец, можно приступить к главному — то есть к зиновьевским сочинениям литературного свойства («романами» это называть было бы неправильно).

Первым и самым известным сочинением профессора логики стали «**Зияющие высоты**». Название Зиновьев придумал ещё в сорок пятом — когда ему в очередной раз зачесалось написать какую-нибудь гадость про «советских». При Сталине, разумеется,

это было чистой воды самоубийством. При Хрущёве же, напротив, открылись перспективы, «задышало» — так что с пощёчиной общественному вкусу были все резоны повременить. При Брежневе всё застопорилось (как вообще всё застопорилось при Брежневе). Злость копилась, мысли приходили в систему.

Одним из побудительных мотивов к сочинительству послужила пресловутая «Пражская весна». Это, если кто не помнит, была такая тогдашняя «бархатная революция»: измена сверху, полезные идиоты в середине, дураки снизу. «Социализм с человеческим лицом», «раздавленный советскими танками». Как там обстояло с человеческим лицом у чехов, сейчас более-менее понятно — точно так же, как потом в Польше, далее везде. То есть местные элитки хотели бежать на Запад вместе со страной, рассчитывая получить за это много вкусных пряников. Желание нормальное: кто ж вкусные пряники не любит, а тут была маза заполучить их целый мешок. Метод тоже был избран правильный: реформирование социализма вплоть до полной его ликвидации. Надежда была на то, что Совок — грозный, но неповоротливый — не посмеет вмешиваться в социалистический эксперимент, а потом будет уже поздно. Совок, как известно, посмел-таки вмешаться. Это вызвало бурю негодования по всему миру[1], не исключая Союза. Нет, даже так: в Союзе негодование было исключительно сильным. Пожалуй, именно чехословацкие события дали толчок массовой интеллигентской фронде.

Сейчас, вспоминая историю советского инакомыслия, трудно вызывать в себе какие-либо чувства, помимо усталого отвращения. Нам, бомжующим на помойке истории, в позорной «эрефии», теперь приходится делать специальное усилие, чтобы напомнить себе — советские порядки и в самом деле были в высшей степени кривыми, косыми и во всех отношениях некузявыми. И тогдашние «альтернативно мыслящие» имели весомые основания для недовольства и протеста. То что этот протест был озвучен в основном дураками и подонками, а попользован жуковатыми хитрованами, сдавшими страну не за понюх табаку, дела не меняет. Впрочем, как не отменяет подонства и дури интеллигенции.

Интересно, что Зиновьев понимал это уже тогда. В своей автобиографии, написанной ещё «до всего», он констатировал следующее: «*С моральной точки зрения советская интеллигенция есть наиболее циничная и подлая часть населения. Она лучше образована. Ее менталитет исключительно гибок, изворотлив, приспособителен. Она умеет скрывать свою натуру, представлять свое поведение в наилучшем свете и находить оправдания. Власти хоть в какой-то мере вынуждены думать об интересах страны.*

Интеллигенция думает только о себе». И закончил: «*Она не есть жертва режима. Она носитель режима*». Слово «носитель» здесь употребляется в том же смысле, в котором говорят об инфекциях: есть «заразы», носители которых сами не слишком от них страдают — зато хорошо их разносят. Интеллигент *разносит* соввласть, инфицирует ею общество. Тут стоит вспомнить, что именно интеллигенты эту заразу в России и принесли (откуда — вопрос другой, хотя «и так ясно», в чьих лабораториях делались эти штаммы). Стоит также вспомнить, что именно «либералы», всё лучше устраивавшиеся при «совчине»[2], стали главными уклющителями Зиновьева в последние годы его жизни в Союзе. Впоследствии, уже в эмиграции, ситуация дошла до прямого конфликта — но там уже включилась прямая конкуренция.

Забавно, что противоположная сторона, то есть «коммуняки», относились к Зиновьеву хорошо — ну, в том смысле, в котором эти люди вообще могут «быть хорошими». Его «не хотели терять», предлагали всякие ништяки и пряники по-советски, лишь бы он бросил дурить. Но Александр Александрович дурить продолжал, и тогда его — не без тяжёлого вздоха — таки списали с глаз долой. Когда его провожали из Союза, у него, помимо всех прочих советских благ, отобрали даже военные награды и разжаловали в рядовые.

Но вернёмся к «**Высотам**». Писать книгу Зиновьев начал в начале семидесятых. Ей предшествовали несколько статей, опубликованных в Польше и Чехословакии, которым, как это обычно у нас бывает, «давали больше свободушки», чем коренным русачкам. Ещё одним заходом было **эссе об Эрнсте Неизвестном**, по сути — социологический этюд на тему того, как общество обходится с талантливыми людьми. Нет, не «советское общество» — а социум как таковой. Это имело непосредственное отношение к тематике «ЗВ».

Книга была закончена в 1975 году и практически сразу переправлена во Францию «с оказией». Оказия оказалась, впрочем, кривоватая, книжка доехала не в полной сохранности, часть текста бесследно пропала. Об этом Зиновьев узнал достаточно поздно и дико взбесился. Впоследствии он восстановил потерю с лихвой, написав «**Светлое будущее**» и «**Записки ночного сторожа**».

Отдельный вопрос — печатание книги. Сам Зиновьев, конечно, хотел видеть её опубликованной. Однако ему не хотелось делать это безо всякого повода. Александр Александрович, откровенно говоря, стал ждать, когда его обидят, благо поводов было предостаточно: с ним вообще обходились несправедливо (пусть даже это была такая же несправедливость,

«как у всех»).

Непосредственным поводом для отмашки к публикации стало очередное «непущание» Зиновьева за границу. Он считался «невыездным» и по неписанным советским правилам «должен был это понимать». Но именно этого — «понимать» — он и не хотел. Здесь же случай был химически чистым. Зиновьева как раз избрали действительным членом финской Академии Наук. Зиновьев собирался в Финляндию на семинар по логике (видимо, к Хенрику фон Вригту, знаменитому финскому логику). Буквально накануне отлёта делегации Зиновьева «зарубили». Зиновьев по этому поводу устроил публичный протест — встретился с западными журналистами и сделал заявление. На следующий день он пошёл сдавать партбилет. Секретарь партбюро, относившийся к Зиновьеву с симпатией, пытался отговорить его от глупого, с его точки зрения, шага. Профессор выслушал и ушёл, оставив партбилет секретарю.

Дальше началась обычная в таких случаях свистопляска. Зиновьева даже умудрились исключить из Философского общества, в котором он не состоял. Тем не менее, в тот момент компромиссы ещё были возможны — но дальше начался процесс публикации «Высот», и все мосты были сожжены.

Об этом нужно, опять-таки, сказать подробнее. Не то чтобы Зиновьев всерьёз ожидал, что его книга будет немедленно издана. Но вообще-то в те годы практически любая сколько-нибудь вменяемая рукопись «из-под железного занавеса» вызывала интерес и могла рассчитывать на публикацию — хотя бы за счёт какого-нибудь цеерушного фонда. Но с «Высотами» дело шло туго. Как выяснилось позже, её отказались публиковать все русскоязычные издательства. В конце концов текст попал к издателю Владимиру Дмитриевичу, по национальности сербу, владельцу лозаннского издательства «L'Age D'Homme» («Век человека») — многоязычного, но известного именно изданиями всякой интересной славянщины. «Высоты» подвернулись ему случайно: зашёл в дом, где в это время находилась рукопись. Дмитриевичу текст очень показался и он взялся за издание[3]. Рекламировал книгу даже Владимир Максимов, старый антисоветский зубр.

Так или иначе, книга вышла — и, что называется, пошла. Книжка не просто вышла, а была переведена, прочитана. Для русскоязычного сочинения, к тому же написанного отнюдь не набоковским языком и теряющего в переводе две трети гэгов и примочек[4], полной намёков на малоизвестных на Западе людей, к тому же с весьма пессимистической моралью — можно говорить об успехе. Конечно, не таком, как у солженицынского

«Архипелага», но всё-таки это был именно что успех.

Разумеется, это перевело статус Зиновьева — находящегося, напоминаю, в пределах Отечества и не намеренного собирать чемоданы, во всяком случае, по доброй воле — ниже плинтуса. Его доисключили отовсюду, откуда ещё не успели, выгнали откуда только могли и начали потихоньку вредить. Досталось и родственникам — в частности, старшему брату, военному, почти дослужившегося до генерала, которого за отказ публично отречься от набедокурившего младшего выгнали из армии и выслали из Москвы. Вокруг семейства Зиновьевых образовалась пустота — та самая, схлопывающаяся.

В частности, семейство Зиновьевых лишилось легальных источников заработка. Приходилось существовать на случайные деньги — фактически, на доброхотные даяния. Зиновьев продолжал писать.

Вторая книга — «**Светлое будущее**» — содержала личные оскорбления в адрес Генерального Секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. Засим последовала реакция — по сравнению со сталинскими и даже хрущёвскими временами довольно мягкая. Зиновьева было решено выслать, причём тихо и без шума, по приглашению от какого-нибудь западного университета. Посадили бы, но в ту пору власть боялась «нового Солженицына» или даже «нового Синявского» и вышла установка «не связываться». Впрочем, «по приглашению» выслать строптивого профессора не получилось — пришлось жать масло, ставить сроки…

В августе 1978 года семья Зиновьевых отправилась в Мюнхен — как все тогда думали, навсегда.

X

Сейчас, «после всего», книги Зиновьева провалились в ту же клоаку, что и вся «антисоветская литература». Более того, в эту клоаку их затаптывают ногами либералы (в особенности те, которые сами были прототипами зиновьевских персонажей). Последующее «обратное предательство» Зиновьева — то есть его возвращение в Россию и фактическое присоединение к «красной» оппозиции — тому весьма способствовало. Помню, как одна интеллигентная дама на возрасте, безумно гордившаяся любовно собранной антисоветской библиотекой (с перепечатанным на машинке Солженицыным, ксеренным Шаламовым и т. п). шипела как гюрза: «Зиновьев — свинья… Столько людей посадили из-за книжонок его поганых!» Несколькими годами раньше она, напротив того, вкусно хихикала, цитируя хлёсткие пассажи из «Высот».

И та, и другая реакция, в общем, понятны, но нам сейчас неинтересны. Более того — смысл произведений Зиновьева в наименьшей мере состоит в их «антисоветском пафосе». Это не значит, что его там нет. Просто сейчас он идёт в ту же цену, что и, скажем, пафос Свифта, который в своих сочинениях тоже ведь тонко намекал на родную Британию. Но мы читаем «Гулливера» не за этим — и уж тем более не поэтому.

Но для того, чтобы понять, чем именно зиновьевские инвективы отличались от прочей «антисоветчины», придётся малость углубиться в последнюю. А также поговорить о своеобразной зиновьевской социологии. Вся антисоветская литература, написанная на русском языке, целиком и полностью находится в русле той традиции, которая в своё время породила «критический реализм» и прочие «свинцовые мерзости русской жизни» (от которых большевики впоследствии взялись лечить Россию по принципу similia similibus — и прописали русским свинцовые примочки).

То есть это была литература обличительная и разоблачительная — либо впрямую, с конкретными именами и обвинениями в лицо, либо «с эзопчиком», через «сатиру». Обвинения бросались либо отдельным людям (скажем, Ленину или Сталину), либо каким-нибудь коллективными сущностям (например, «Партии» или «бюрократии»). В пределе они адресовались двум метасуществам — Власти и Народу. Власть обличалась (опять же, если доводить дело до предельного поинта) за её активность, народ — за его пассивность (впрочем,

активности народа — особенно русского — принято было тоже заранее бояться, потому как ничего хорошего антисоветчики от него не ждали). Отношения власти и народа описывались в категориях «строя» (в данном случае «советского»), который и был основной мишенью критиков. Ибо, с их точки зрения, единственным источником всего хорошего и всего плохого в стране была именно власть и её конкретные действия.

Зиновьев же демонстрировал совершенно иной подход к социальной реальности. Если с чем-то его сравнивать, то он был близок — как по стилю, так и по предмету основного интереса — к популярным в среде советских инженеров Паркинсону и Мерфи, то есть к жанру «иронических социологических трактатов». Это очень специфический жанр, начатки которого можно усмотреть у великих сатириков прошлого, но по существу он родился во второй половине XX века.

Это прямое художественное изображение общественных отношений на микроуровне, с карикатурными человечками-муравьишками, движимыми социальными законами. Зиновьев называл это «**социологическим романом**» — когда объектом литературного интереса становятся не герои и не их частные отношения, а то общее, которое через них просвечивает. (Кстати: уж если искать западноевропейские корни зиновьевского творчества, то стоило бы обратить внимание не только на Свифта, но и на… Диккенса, чьи персонажи тоже деформированы «невидимыми социальными силами».)

К «обычной» литературе всё это имеет примерно такое же отношение, как попытка рисовальщика натюрмортов — скажем, каких-нибудь яблок на подносе — изобразить на холсте *гравитацию,* которая удерживает эти яблоки на подносе. Понятно, что такой рисовальщик неизбежно ударится в гротеск и сатиру: желание изобразить «саму тяжесть» неизбежно приведёт к тому, что яблоки получатся изрядно расплющенными. Но это вовсе не насмешка над яблоками — это именно что желание хоть как-то выразить, подчеркнуть то невидимое, что составляет основной предмет интереса. В этом смысле зиновьевские ушлёпки не более «сатиричны», чем паркинсоновские бюрократы.

Объектом зиновьевского интереса был не «советский строй», а советский *образ жизни.* Его Зиновьев считал первичным, а «власть» и её трепыхания рассматривал, выражаясь по-марксистски, как «надстроечное явление». Не то, чтобы оно было совсем незначимо, напротив — но огромная роль властных институтов в «совке», как и сами эти институты, были порождением советского образа жизни, а не наоборот.

То же самое касается и «народа», в котором многие искали

исток и причину советских ужасов. О нет, это было бы слишком хорошо. Зиновьев был уверен, что советская ситуация имеет отношение к свойствам советского народа разве что в своих лучших проявлениях (после 1991 года он стал уделять этому моменту основное внимание). А вот советская мерзотина, напротив, имеет прямое отношение ко всем людям вообще.

Зиновьев отказался рассматривать советские порядки как нечто сконструированное «сверху» или рождённое «от особенностей нации». Он считал их в высшей степени естественными, природными, соответствующими самой природе человека. Советская власть, с его точки зрения, не исказила эту природу, а, напротив, убрала или сильно ослабила некоторые искажающие её факторы. «**Гомо советикус**» (сам Зиновьев сокращал это наукообразное выражение до смачного *«гомосос»*) — это и есть *человек как таковой.* Советская власть лишь дала ему шанс проявиться во всей своей красе.

XI

Зиновьев несколько раз брался за изложение своей социологии в систематическом виде. Под конец жизни ему это даже удалось. Однако к тому времени его первоначальная картина мира, с одной стороны, усложнилась, с другой, — подверглась сознательной деконструкции, осуществляемой отчасти в популяризаторских целях, отчасти в видах встраивания новых идеологем.

Я буду излагать «систему Зиновьева» в том виде, в котором она представлена в его ранних книгах, начиная с «Высот» и кончая трактатом «**Коммунизм как реальность**». Разумеется, это во многом реконструкция, к тому же изрядно утрированная (впрочем, тут Зиновьев, мастер «подчёркивания и выпячивания», меня бы понял). К тому же без такой утрировки многие важнейшие — и, заметим, наиболее скандальные — утверждения Зиновьева не могут быть поняты адекватно.

Начать придётся издалека — с традиционных воззрений на «человека как такового», то есть с тех антропологических предпосылок, которые Зиновьев отвергает.

В наше время — читай, в последние два века — на Западе сложилось определённое представление о человеке как о биосоциальном существе, обладающего некоей иерархией потребностей. В самой банальной — и оттого de facto общепризнанной — модели они описываются так называемой

«пирамидой Маслоу». Эта модель хороша тем, что она крайне проста, не конфликтует со здравым смыслом и с наблюдаемыми фактами, и притом ничем не обижает гомосапиенса как «высший вид». К тому же пирамидка совместима с вульгарным марксизмом, но при этом приемлема и для идеалистов. В общем, сплошь удобство.

Устроена пирамида человеческих потребностей так. В самом низу — физиологические потребности: поддержание жизни и «низкие» удовольствия. Выше идёт потребность в безопасности и защите. Ещё выше — потребность в коллективе (принадлежности к социальной группе). Ещё выше — потребность в уважении и признании со стороны этого коллектива. И, наконец, на самом верху — потребность в самореализации (начиная от творчества и кончая экстремальным спортом: всё сюда). Потребности упорядочены: если низшие не удовлетворяются в достаточно полном объёме, высшие просто не возникают. Сначала жратва, потом дом, потом компания, потом уважуха, потом выёживаться.

Эту точку зрения на человека разделяют, в общем-то, все — конечно, с теми или иными оговорками. Оговорки могут занимать очень много места, но «самая кочерыжка» остаётся той же.

В принципе, это *очень оптимистический* взгляд на человека. Потому что в нём практически нет места для серьёзного онтологического зла. Разумеется, удовлетворение любой из указанных потребностей может быть осуществлено путём совершения каких-нибудь негодяйств — но сама потребность в негодяйствах отсутствует. Все человеческие желания и нужды справедливы и обоснованы. Плохими могут быть лишь средства их достижения.

Зиновьев смотрит на социальный мир совершенно иначе.

Основными потребностями человека как социального существа он видит потребность в обществе себе подобных — и одновременно желание от этого общества избавиться. Человек является не только социальным, но и антисоциальным существом. Ненависть и отвращение к себе подобным ему свойственны в той же самой мере, что и потребность в них.

Это типично диалектическое противоречие. Снимается оно в понятии доминирования. **Доминирование** — это ситуация, когда человек получает возможность обращаться с равными ему людьми как с низшими существами (в идеале — как с животными или неодушевлёнными объектами). Это разрешение противоречия — человек оказывается одновременно и в центре общества, и вне его, выше его — доставляет доминатору наслаждение, а доминируемые страдают. Страдающим требуется адекватное

утешение — в виде возможности доминировать над кем-нибудь ещё. И так далее — вплоть до последней беспомощной, шпыняемой жертвы, которой не повезло оказаться с краю.

Страдание доминируемого часто является физическим, но не обязательно. В целом, оно сводится к унижению. **Унижение** — ещё одно диалектическое понятие. Это, в общем-то, субститут убийства. По-настоящему униженный человек должен чувствовать, что его *убивают*. Но при этом он остаётся в живых, чтобы быть «убитым» ещё и ещё раз. В идеале, умирание (символическое, но переживаемое как реальное) может длиться всю жизнь.

В принципе, ничего особенного в нарисованной картинке нет. Так устроены многие нечеловеческие сообщества. Иерархия, доминирование, альфа-самец на верхушке и забитая «омега» — это всё «явления известные». Человек интересен только тем, что у него есть разум, а, значит, он может придумать много новых путей для достижения всё той же вечной, прадревней цели — унижать. Именно способность человека так страдать от унижения — и так наслаждаться чужим унижением — делает его уникальным существом, в котором социальность достигла своего наивысшего развития. Только человек способен испытывать столь захватывающее чувство счастья от осознания того факта, что, оказывается, можно *одновременно* находиться в обществе (в обществе своих жертв) и быть абсолютно свободным от этого общества, то есть господствовать над ним, то есть унижать, то есть символически и реально уничтожать других людей. Давить, давить, *давить* «таких же как он» — сапогом, словом, даже «всем своим видом»[5].

Социум, таким образом, представляет собой машину по *максимизации доминирования*. Оно всегда стремится устроиться так, чтобы как можно большее количество особей могло удовлетворить свою страсть к унижению других. Все общественные институты, включая такие «с виду рациональные и полезные», как экономика, свободный рынок, или, скажем, государство и бюрократия, *прежде всего* служат *этой* цели. Они могут при этом выполнять ещё и другие функции (которые считаются «главными»), но если они не обслуживают — или хотя бы недостаточно обслуживают — эту главную, то они либо деградируют, либо всё-таки начинают работать на Главную Человеческую Игру — то есть функционировать как механизмы унижения.

Из этого следуют кое-какие интересные леммы.

Так, например, получается, что главная задача власти — любой власти — обеспечить максимальному количеству людей

максимальное удовольствие от низведения и курощания других людей. Прочие функции власти, включая так называемое «управление», вторичны и малозначимы. Власть не сводится к управлению, более того — она гораздо чаще *мешает* управлять. Вообще, управление есть «работа» и «дела», а заниматься делами недостойно начальника. **Начальствование есть наслаждение само по себе.** Оно существует для того, чтобы большие начальники могли вытирать ноги о меньших, а те нагибали подчинённых. При этом иногда производится ещё и какая-то полезная деятельность — например, готовятся и принимаются какие-то разумные меры, направленные на улучшение общественной жизни. Но это скорее исключение из правила, чем правило. Вообще-то нормальная власть стремится не «управлять делами» и «брать на себя ответственность» за происходящее в обществе, а, напротив, скидывать с себя всякую ответственность, мешать всему полезному и разрушать чужой труд (ибо ничто так не унижает людей, как уничтожение плодов их труда и помехи их труду) и бесконечно куражиться — чем бессмысленнее, тем лучше. **Власть всегда злонамеренна по отношению к подвластным и всегда хочет им зла**.

И это именно *нормальное, естественное* состояние «властной пирамиды»: для того, чтобы она функционировала иначе и приносила какую-то пользу, необходимы особые усилия наиболее разумной части общества. **Но в нормальном, естественном своём состоянии власть ни для чего не нужна, кроме как для куража и разрушения**. Власть — это всегда не только насилие, но и разрушение.

Но именно поэтому мечты анархистов об «отмене» власти беспочвенны. Если бы власть несла бы какую-то полезную функцию, её можно было бы чем-то заменить, устроиться как-то иначе. Но власть ценна сама по себе**. Если людей лишить государства, значительная часть этих людей будет несчастна, потому что лишится главного и единственного своего наслаждения — вредить ближним и наслаждаться безнаказанностью.** А это значит, что они снова выстроят машину власти. И общество не будет особо сопротивляться, ибо хочет, в общем, того же самого.

Но не всё исчерпывается властью. Так понимаемой сфере властных отношений противостоит — и с ней сливается — другая сфера, которую Зиновьев назвал сферой *коммунальных* отношений, а господствующий тип взаимодействий в ней — **коммунальностью**.

Это слово, навылет провонявшее страшным духом советских «коммуналок», стоит признать одним из самых удачных

терминологических находок Зиновьева — по меньшей мере, столь же удачной, как гумилевские словечки «пассионарность» и «антисистема», ныне вошедшие даже в тощенький словарь отечественной журналистики. «Коммунальность» как-то не слишком известна, а жаль. Потому что это слово и в самом деле многое объясняет.

Если кратко, то *сфера коммунальных отношений — это область действий, направленных не на максимизацию доминирования, а на минимизацию собственного унижения*. Выражается это, однако, не в бунте против системы доминирования, ибо эта система присуща человеческой природе, — так что бунтовать против неё способны лишь немногие личности, выдающиеся или безумные, но в любом случае восстающие против собственного естества (то есть «извращенцы» — в прямом смысле этого слова). Нет, коммунальные отношения функционируют в рамках этой системы и не посягают на неё. Наоборот, они её укрепляют. Коммунальность, другими словами, — это темная, дурная сторона общинности (трудно сказать, есть ли у нее вообще добрые стороны).

Чтобы было понятно, о чём идёт речь, приведём два примера, из числа зиновьевских любимых. Один касается отношения социума к талантливым людям, другой — механизма коллективной травли одиночек.

Зиновьев в своё время написал эссе о судьбе таланта в обществе с сильной коммунальностью (забегая вперёд: именно такое общество он считал «реально коммунистическим»). Такое общество прекрасно видит, кто из его членов по-настоящему талантлив — и ненавидит таких людей, и старается причинить им максимально возможный вред. Единственное, что хоть как-то извиняет талант — это приносимая им польза, которую общество иногда «сквозь зубы» принимает (но обязательно недооценивает, и всегда в максимально унизительной форме). В то же самое время это же общество постоянно воздвигает над собой ложных кумиров, бьёт челом каким-нибудь дрянным людишкам, сходит с ума от бездарностей. Однако настоящий талант в число этих кумиров никогда не попадёт даже случайно. Зато после смерти гений вдруг оказывается оценён и признан, и внезапно прозревшие современники принимаются молиться на его могилку и выплачивать персональные пенсии «вдове и потомкам» (но особенно охотно — в том случае, когда потомков нет). И так далее — всё это у нас перед глазами.

Выглядит это как изощрённое издевательство. Но в рамках социологии Зиновьева всё объясняется довольно просто.

Что такое «талантливый человек»? Это, с одной стороны,

человек, выбивающийся из общего ряда. В рамках обычной звериной логики социума, это претендент на власть, «верхний». Но, с другой стороны, талантливый человек редко ведёт себя как «верхний»: если он талантлив, ему интереснее заниматься своим делом, а не куражиться и пановать. Общество чувствует себя обманутым и оскорблённым: гений как бы делает ложную заявку, претендует на то, чего не берёт. Короче, он ведёт себя как человек, которому налили водки, а он выливает её на землю. Для полноты картины представьте, что это происходит на глазах компашки алкашей[6]. «За такое убить мало».

В то же время «ложный кумир» в *этом* смысле честен. Бездарный и пустой, он любит не какое-то там «дело», а свою известность и порождаемую ею власть. Он цепляется за неё всеми лапками и готов ради неё на всё. Публика это чует пузом — и ей это нравится. Вознося над собой пустышку, люди как бы говорят себе и другим: «он вроде бы и лучше нас, но на самом деле такой же, как мы, и даже хуже». То есть это чувство, в какой-то степени эквивалентное палаческому «вроде они как мы, а я ведь могу из них фарша накрутить». Здесь обратное: «захотим, и они сдуются».

Теперь рассмотрим феномен массовой травли. С точки зрения социума, это экономичный механизм, позволяющий удовлетворить острейшую потребность множества людей вытереть об кого-нибудь ноги за счёт всего одного человека или небольшой кучки людей. Травимый одиночка при этом может совершенно ничем не выделяться среди всех прочих — просто ему не повезло, он оказался крайним. Как правило, несчастный стремится любой ценой «вернуться обратно», раствориться в коллективе — но коллектив не даёт ему этого сделать. Как ложный талант выпихивается вверх, чтобы задвинуть настоящий талант, так жертва выпихивается вниз, чтобы сохранить положение других и дать им их законное наслаждение — потоптать кого-нибудь, хоть на минутку да побыть в роли мучителя (то есть начальника).

Итак, коммунальность — это стихия «антивласти», но антивласти, которая не противостоит власти, а дополняет её. Это социальность в её чистейшем, дистиллированном виде.

XII

Всё вышеописанное — не откровение, а хорошо известные вещи. Но Зиновьев, во-первых, говорит о них открыто, и, во-вторых, признаёт их субстанциальность. Это именно *суть*

человека, а не какие-то «внешние явления», которые можно преодолеть. Преодолеть основное желание каждого члена социума — быть выше того, кто равен тебе, — невозможно.

Но его можно ограничить. Этих ограничителей Зиновьев находит, в общем, всего два.

Во-первых, сферы власти и коммунальности ограничены снизу — *биологическими потребностями человека*. В отличие от Маслоу, Зиновьев не считает их первичными. Человек довольно легко может пойти на ограничение своих биологических потребностей, лишь бы удовлетворить свою социальную похоть, лишь бы приподняться над другими или избежать унижения со стороны других. Но в целом сфера материальных потребностей всё-таки ограничивает коммунальные силы.

Если посмотреть с этой точки зрения на экономику, то есть на совокупность механизмов производства и обмена благ, прежде всего материальных (и к ним приравненных), то можно — к большому удивлению — понять, что эта необходимость «производить и торговать» существенно *гуманизирует* общество, делая его менее коммунальным. Дело в том, что экономика основана на разделении труда, а последнее предполагает не коммунальные, а кооперативные и конкурентные отношения.

То, что кооперация сближает, и так ясно. Зато конкуренцию обычно принято проклинать и видеть в ней источник взаимного озлобления людей друг противу друга. Это было бы совершенно справедливо, если бы взаимное озлобление не было бы первичным пра-феноменом всякой социальности вообще. Конкуренция же вводит это озлобление в определённые рамки. В частности, нормальные конкурентные отношения выстроены так, что люди могут соревноваться, но не причинять друг другу прямой вред. В то время как в сфере властных и коммунальных отношений они только этим и занимаются.

В «**Коммунизме как реальности**» Зиновьев сравнивает экономическую конкуренцию со спортивными соревнованиями, чем-то вроде бега, где спортсмены могут бегать по своим дорожкам, но не забегая на соседние и не ставя подножки другим. Их ненависть, их желание оказаться выше и занять первое место (ценность которого прежде всего в том, что всем остальным оно не достанется) сублимируется в «стремление к победе», а при дальнейшей сублимации — в потребительском угаре. То, что всякое потребление есть, как сейчас выражаются, *статусное потребление,* для Зиновьева было самоочевидной банальностью. Как и тот факт, что большинство так называемых «*материальных* потребностей» есть сублимация потребности «*идеальной*» (если можно считать за таковую потребность унижать). Даже самая что

ни на есть биологическая потребность — еда — является в значительной части сублимацией. Так, современный человек ест «лишний кус», потому что в глубине души хочет тем самым оставить кого-нибудь голодным, «вырвать кусок изо рта». Точно так же, древнейшая потребность человека в зрелищах есть потребность в зрелище чужого унижения, лучше всего — мучительной смерти. Прообразом всякого зрелища является публичная казнь, а высшим и непревзойдённым достижением шоу-бизнеса — гладиаторские бои…

Но в целом экономика, экономические соревнование сублимируют исходный импульс и обращают его на пользу обществу. Кровь и слёзы, пролитые в пароксизмах зависти и злобы, вращают колёса рыночного механизма.

Есть и другой ограничитель стихии чистой социальности. Это то, что можно назвать словом «*духовность*». Зиновьев гордился тем, что впервые за всю историю придал этому слову точный, формально выверенный смысл.

Духовность не измеряется уровнем образованности, бытовыми привычками и общей культурой, «правильными» — с точки зрения господствующей моды — убеждениями, даже личной душевностью и добросердечием. Всё это значимо, но всё это лишь сопутствующие признаки, следствия и эпифеномены. Духовный человек может быть необразован, иметь дурные манеры, очень странные убеждения и скверный характер. Потому что духовность определяется не этим. А только одним: *добровольным и осознанным отказом* от главного социального наслаждения — участия в вечном и повсеместном *унижении человека человеком.* Тем самым он идёт против собственной человеческой природы — и в той мере, в какой ему это удаётся, перестаёт быть человеком и становится чем-то другим.

Но не надо заблуждаться: такое перерождение, если даже оно возможно — привилегия немногих *сильных духом* людей. Большинство же должно поддерживать в себе хоть какой-то уровень духовности (то есть хоть немного ограничивать свои социальные инстинкты) непрерывным усилием воли, удерживая себя от напрашивающихся (и таких сладких!) гнусностей по отношению к ближним. При этом не заблуждаясь относительно последних. Духовный человек не любит людей: напротив, он считает их бесами во плоти. Он поступает с ними честно и благородно (то есть «не по-людски») не из любви к ним, а, напротив, *из отвращения* — не желая уподобляться этим двуногим бесам в непрестанно ими творимых мерзостях. И радуется лишь тогда, когда среди оскаленных пастей и перекошенных похотью власти и унижения харь и рыл вдруг

мелькнёт лицо собрата.

Зиновьев описывал свой идеал «человека духовного» неоднократно, даже пытался сформулировать нечто вроде жизненного учения, позволяющего достичь так понимаемой духовности. Получилось нечто вроде стоицизма, помноженного на советский опыт.

Да, кстати, о советском опыте. Мы, наконец, можем теперь обратиться на главное: как понимал Зиновьев природу советских порядков.

Итак. Советский строй, по Зиновьеву, *не* является результатом социального конструирования. То, что его создатели имели такие претензии, указывает лишь на их невежество. Да, они и в самом деле проделали с обществом нечто (добавим — нечто фатальное), но сами не поняли, что сделали и к чему пришли. В дальнейшем же руководству страны — не только «самому верхнему», а всей властной пирамиде — пришлось приспосабливаться к обнаружившимся реалиям.

Итак. Советское общество — это, прежде всего, общество, в котором со стихии чистой коммунальности *сняты оба ограничителя:* экономика и духовность.

Как мы уже говорили, «нормальная» экономика для Зиновьева — это конкуренция, то есть сублимированная, заключённая в рамки (точнее, посаженная в беличье колесо) прадревняя ненависть человека к человеку. В обществе, где существует рыночная экономика, люди могут сублимировать свои коммунальные инстинкты, не принося друг другу персонального и личного вреда. С ненавистью косясь друг на друга, они бегут по своим дорожкам, и всё, что им позволено — это обгонять друг друга и потом кичиться призами[7]. Но соввласть уничтожила экономику, заменив её плановым производством. А это означало уничтожение системы беговых дорожек и какой бы то ни было сублимации социальности.

В духовной же сфере тоже воцарилось запустение. Советская власть нагадила и тут, введя в качестве обязательной дурную и неудобоваримую философию и идеологию («марксизм») и к тому же запретив всякое её развитие. Для того чтобы сохранить «вечно живое учение» в неприкосновенности, с ним поступили ровно так же, как с мумией Ленина — положили в саркофаг и создали систему поддержания внешнего вида трупа в более-менее демонстрабельном состоянии. Занимались этим все гуманитарные учреждения страны. Разумеется, любой шаг вправо-влево рассматривался как попытка разрушения драгоценной мумии и соответствующим образом карался. Это, в свою очередь, привело к возникновению системы подавляющей цензуры, а

главное — запрету на любую *духовную проповедь,* сколько-нибудь отличающуюся от того, что можно было «вытащить из классиков» — а вытащить оттуда можно было очень немногое, да и то пованивало.

Что произошло в результате? Очень ожидаемая вещь: коммунальность развернулась во всю свою исполинскую мощь. Основным занятием советского человека стали статусные игры. Поскольку же таковые игры — всегда игры с нулевой суммой, а то и с отрицательной (ибо торжество одного означает унижение другого, но не наоборот), то население начало *портиться.* Советский человек становился всё более «природным».

При этом особенно развились именно коммунальные игры — то есть «антивласть». Это и неудивительно даже с точки зрения политической. Послевоенный СССР был обороняющейся страной, вынужденной всё время отвечать на удары извне (которые сыпались и с Запада, и с Востока), но не бить самому. Даже самые высшие советские начальники всё время чувствовали себя выпоротыми, опущенными, униженными[8]. Как это компенсировалось ниже, спускаясь с уровня на уровень — вплоть до какой-нибудь уборщицы, которая тоже ведь рассматривала своё жалкое ремесло с точки зрения «поиздеваться» и успешно использовала для этих целей ведро и тряпку — говорить уж и не приходится.

Косвенным следствием этого стало всеобщее озлобление и окончательное разрушение каких бы то ни было социальных связей. Особенно это коснулось русских, которые, что называется, атомизировались — поскольку именно в России режим свирепствовал более всего, в частности, запрещая русским какую бы то ни было экономическую активность и свободомыслие. Напротив, в национальных окраинах, которые советская власть любила (тогда Зиновьев ещё не задумывался, почему), сохранялись рыночные отношения и допускалось существование несоветских форм духовной жизни. Это впоследствии дало соответствующим народам гигантские преимущества. В то же время социально изувеченные русские, больные неизжитой коммунальной ненавистью друг к другу, едва-едва находят общий язык, зато охотно делают друг другу мелкие пакости. Это положение дел консервирует отлучённость русских от денег, доходов, достатка: все наваристые местечки принадлежат прытким и цепким инородцам, русские же довольствуются ролью наёмных рабо(тник?)ов, в лучшем случае — мелких зверюшек среднего звена, одержимых всё теми же коммунальными инстинктами.

Наконец, последнее. Зиновьев был единственным автором,

который внятно и честно ответил на вопрос, волновавший, наверное, всех советских людей, которые «ещё во что-то верили»: что будет, если удастся построить коммунизм?

Напомним. Коммунизм определялся как мир материального изобилия, где все разумные материальные потребности удовлетворены, а принуждения к труду нет — все делают, что хотят и при этом хорошо кушают и мягко спят. В отличие от многих и многих критиков коммунистического идеала со стороны «аразумных экономических выкладок» (типа в таком обществе работать никто не будет, а жратвы на всех всё равно не хватит), Зиновьев считал построение такого общества теоретически возможным. В конце концов, построение полностью автоматизированной экономики, исключающей человеческий труд вообще, не является абсолютно недостижимой целью: по крайней мере, сейчас мы не знаем причин, почему это невозможно (хотя все отдают себе отчёт, что создание такой масштабной фигни в тысячи раз сложнее, чем, скажем, полёт к Плутону). Зиновьев лишь утверждал, что в подобном обществе будет очень страшно жить.

В «**Зияющих высотах**» это рассуждение демонстрируется на примере крыс, которым создали райские условия для обитания. По мнению Зиновьева, крысы построят концлагерь. Понятно, что о крысах Зиновьев был на самом деле лучшего мнения.

Что касается людей. Лишённые материальных забот (которые вынуждают конкурировать и кооперироваться) и возможностей духовного роста (ибо идеологию предполагалось оставить в неприкосновенности), люди предались бы коммунальным играм. Начальство всё более борзело бы и куролесило, простые люди изобретали бы всё более изощрённые способы порчи жизни друг другу. В конце концов, все согласились бы на максимально отвратительную, какую только можно измыслить, систему, максимизирующую унижение. Зато каждому доставался бы либо кусочек возможности унизить другого, либо хотя бы надежда на такую возможность.

Зиновьев резюмировал это так: «*Все ужасные стороны коммунистического идеала есть непосредственное продолжение его достоинств*».

XIII

Оказавшись на Западе, Зиновьев оказался в одиночестве.

В Советском Союзе вокруг него существовало какое никакое,

но окружение. Даже в самые неприятные — предотъездные — годы им восхищались, ему помогали, ему, как минимум, сочувствовали. Или, по крайней мере, он мог думать, что ему сочувствуют, но не решаются высказать это открыто.

Впрочем, надо сказать несколько слов о «нужности» как таковой. Как и многие антиобщественно настроенные люди, Зиновьев очень хотел быть востребованным обществом. Особого противоречия тут нет: как уже было сказано, он не считал себя частью общества (понимаемого им как коммунальный крысятник), но к людям относился хорошо и готов был быть для них полезным. Забегая вперёд: когда Зиновьев возвращался в Россию, он не уставал называть произошедшее с ним «преступлением» и даже ждал от кого-то какого-то «покаяния» (что для избранного им амплуа специалиста по коммунальному поведению было даже и странно). Так или иначе, он всегда рассматривал свою жизнь как некое *служение* — и ждал от других хотя бы принятия этого факта к сведению.

В СССР это «хотя бы понимание» он получал — даже от самого режима. С ним возились, потом с ним боролись, но всегда принимали всерьёз. По легенде того времени, Суслов, ознакомившись с делом Зиновьева, сказал: «Мы возились лишь с диссидентами, а главную сволочь проглядели». Услышать такое от зловещего старца — по тогдашним раскладам это был высший балл.

На Западе иллюзии рассеялись. Стало ясно, что он — по крайней мере, в том формате, в котором он намеревался существовать, — там не нужен.

Начнём с той среды, от которой Зиновьев ждал хотя бы минимальной корпоративной солидарности — то есть с общества профессиональных совдиссидентов. Эти Зиновьева, в общем и целом, не приняли — причём неприятие шло на уровне генералитета. «Великий Сахаров» сразу после появления «**Зияющих Высот**» в интервью какой-то французской газете назвал книгу «декадентской» (очень смешно, если вдуматься). Другой фельдмаршал от инакомыслия, Солженицын высказывался в том же духе. Остальные, в общем, тоже крутили рыльцами. Хотя нашлись и любители Зиновьева — в основном из второго эшелона.

Основная причина тому была «очень человеческая» (даже слишком): Зиновьев «вывел» (или, как тогда говорили, «протащил») в своих книгах не только бровеносца Брежнева, но и весь цвет диссидентуры. Было бы наивно рассчитывать, что они ему это простят. Дальнейшая его жизнь на Западе это только подтвердила: злые карикатуры на диссиду в том же «**Пара**

беллум» были срисованы с живой, повизгивающей натуры.

Впрочем, это ещё могло бы как-то сойти с рук — при надлежащем позиционировании. Если бы Зиновьев всерьёз взялся за обустройство своего места в эмигрантской тусовке, умело лавируя и козыряя, то в какой-то момент его всё-таки вписали бы туда — хотя бы на правах «нашего Салтыкова-Щедрина». И какая-нибудь хозяйка эмигрантского салона объясняла бы вновь прибывающим: «Сан Саныч у нас такой мизантроп, про всех плохо пишет, а на самом деле — замечательный человек, анекдотов уйму знает, рисует очень смешно, не хулиган[9], Шмулику вот на свадьбу серебряную пепельницу подарил». И всё было бы нормальненько.

Но Зиновьев в местечковые коммунальные игры играть не хотел, более того — сознательно нарывался. Например: перед отъездом один умный человек присоветовал ему: если «там» вас кто спросит, не родственник ли вы того самого большевика Зиновьева, отвечайте уклончиво. Зиновьев совет выслушал, намотал на ус. И когда ему этот вопрос действительно задали (что случилось довольно-таки быстро) — ответил, что к тому Зиновьеву, который большевик, отношения не имеет, хотя бы потому, что тот Зиновьев имел другую фамилию, а вот он, Зиновьев — как раз настоящий. Такая тирада оттолкнула «многих серьёзных людей в тусовке», а за Александром Александровичем закрепилась репутация «хулигана».

Это, впрочем, не объясняет гнева того же Солжа или инвектив Сахарова. Небожители зря молний не кидают.

Тут были причины серьёзные, идеологические. **Неприятие Зиновьевым советского строя с самого начала опиралось на иные резоны, чем у всех остальных**. Эти остальные не без основания видели в профессоре логики не соратника по борьбе, а в лучшем случае попутчика, причём странноватого и заведомо нелояльного. Как показала практика, они оказались в конечном итоге правы.

Что касается западного истеблишмента, то Зиновьев, в общем, не вызвал у него практического интереса.

Тут нужна расшифровка. С точки зрения советского (и тем более нынешнего российского) обывателя, Зиновьев на Западе был превознесён и обласкан. О, шутка ли! — «*был избран в академии наук Финляндии, Баварии, Италии, нескольких академий наук России, стал лауреатом литературных премий Европы, премии великого социолога Алексиса де Токвиля. Зиновьеву присвоили звание почетного гражданина Авиньона, Оранжа и Равенны*» (цитирую по одному апологетическому жизнеописанию). Вы только вслушайтесь в интонацию: «каких

почестей, какой славы удостоился!» — и в середине стыдливо затёртое «несколько академий наук России»: упомянуть вроде надо, но это так, для порядка. И дальше захлёбывающийся ямбический клёкот: «почётный гражданин Оранжа и Равенны». «Шикарно».

Зиновьев, однако, был тёртым калачом и на мякину не клевал. В частности, он умел — когда хотел — ориентироваться в коммунальных ситуациях, пробовать монеты на зуб и отличать самоварное золото от настоящего. Поэтому он быстро понял, что ласкающие слух титулатуры — это, по большей части, специальный товар для туземцев и лохов, бусы и зеркальца, раздаваемые некоторым полезным дикарям, чтобы те гордились и были благодарны за честь от белых сахибов. Критически рассматривая вручаемые безделушки, Зиновьев убеждался: да, его держат за полезного туземца — что лучше, чем ничего. Но он-то видел себя белым человеком.

Важнее было то, что некоторые его научные труды были переведены на «всякие хорошие языки». Из шести его логических монографий перевели пять; в том же апологетическом жизнеописании пометка — «явление исключительное как в те годы, так и в наши дни». В смысле, русских не переводят. Ну да, Зиновьева переводили, в том числе и его научные труды в области polyvalential logic. Но индекс цитирования, увы, не радовал.

Лучше сложились отношения с читающей публикой. Зиновьевские книжки были довольно-таки популярны — разумеется, только так, как могут быть популярны книжки, написанные заведомо поражённым в интеллектуальных правах человеком. То есть они переводились на всякие языки и даже расходились относительно неплохими тиражами[10] — но в сферу актуальной западной интеллектуальной жизни они почему-то не попадали. Зиновьев довольно быстро понял, что это не случайность, а принципиальная позиция: русских на Западе довольно прилежно изучают, но никогда не допускают до диалога. **Русский интеллектуал может стать — в лучшем случае — предметом дискуссии, но не её участником**. «Слона не пригласят на кафедру слоноводства».

Впрочем, здесь ситуация была ещё хуже. Сам Зиновьев объяснил дело так: поскольку на Западе смотрели на Россию как на жертву, которую надо убить, то всё изучение России велось под специфическим углом зрения — так, как хищник изучает добычу. Поэтому, в частности, никто не интересовался преимуществами (или даже нейтральными особенностями) советской системы или исторической России как таковой: искали

дефекты, уязвимые места, болевые точки. Они в конце концов были найдены, слона завалили. Больше ничего не требовалось — а потому специалисты по слоноводству (или хотя бы «нейтральные биологи») были просто не востребованы. (В книге «**На пути к сверхобществу**» Зиновьев писал: «Во второй половине XX века развилась советология, сыгравшая большую роль в разрушении Советского Союза и советского коммунизма. В ней не было никакого научного понимания коммунистического социального строя. Но оно и не требовалось. Более того, оно даже мешало. Чтобы убивать китов, не требуется биологическая наука о животных, нужна наука обнаружения, убийства и разделывания китов. В науку о строении и образе жизни китов не входит описание гарпуна и способа оперирования им».)

Тем не менее, иногда серьёзные люди всё же иной раз снисходили до экзотического «русского профессора». Зиновьев такие ситуации ценил и долго помнил. В частности, во время одного такого разговорчика — в 1979 году, на публичном выступлении — его спросили, какое место в советской системе является самым уязвимым. Тот дал ответ в стиле русской сказки про кощееву смерть: аппарат КПСС, в нём ЦК, а в нём — Генеральный Секретарь. «Сломайте эту иголочку, и всё рухнет». (Кстати, выступление называлось «**Как иголкой убить слона**»). «*Проведите своего человека на этот пост,* — говорил он под смех аудитории, — *и он за несколько месяцев развалит партийный аппарат, и начнется цепная реакция распада всей системы власти и управления. И как следствие этого начнется распад всего общества*». В дальнейшем, когда Зиновьев вспоминал об этой речи, он утешал себя тем, что данная идея давно уже пришла в голову западникам. В одном из интервью он говорил: «Они сами до этого додумались и без меня. Один из сотрудников «Интеллидженс сервис» говорил как-то мне, что они (то есть силы Запада) скоро посадят на «советский престол» своего человека. Тогда я еще не верил в то, что такое возможно, и о такой «иголке» Запада, как генсек-агент Запада, я говорил как о чисто гипотетическом феномене. Но западные стратеги уже смотрели на такую возможность как на реальную».

Упоминание «Интеллидженс сервис» в таком тоне и контексте заставляет задуматься: а что, если бы Александра Александровича и впрямь позвали бы в серьезный западный «мозговой центр», где белые люди оттачивают орудия своего господства над миром? Пошёл бы он в такое место? Возможно, да; а если нет — всю жизнь считал бы это упущенной возможностью… Но — не позвали.

Зиновьев не сдавался. Он пытался заниматься логикой — это

была, в конце концов, его работа. Продолжал «социологические романы». Оттачивал аппарат. В общем, не покладал рук — в отличие от многих и многих, которые, оказавшись на Западе, изрядно опустились.

XIV

Если говорить о том новом, что появилось в зиновьевской картине мира во время его двадцатилетнего изгнания, то можно выделить две основные темы. Одна очевидная и биографически мотивированная: **реальный Запад**. Вторая менее очевидная и более интересная: **историзм**.

Начнём со второго — так удобнее.

Для раннего Зиновьева **история не существует**. Человек со всеми своими свойствами задан, общество задано тоже, коммунизм и капитализм — структурно, но не исторически различные варианты построения общества, никакого «традиционного» общества (докапиталистического) он как бы не видит. Теперь, будучи человеком последовательным, он начинает думать о генезисе описываемых им вещей — «откуда всё взялось». А где генезис социальности, там и история, а, следовательно, — антропология.

Что касается последней, то Зиновьев был вынужден volens nolens заняться пресловутой «проблемой человека». Определился он в этом вопросе в самом что ни на есть традиционном научном ключе, всячески избегая «мистики и поповщины» (да-да, он пользовался именно таким языком: ну не любил он ни того, ни другого). Человек для него — общественное животное, причём пресловутая «разумность» есть следствие (и функция) «общественности». Эта «общественность» человеческого существа — результат биологической эволюции, «миллионов лет развития». «Никакой мистики».

Чем же именно homo sapiens sapiens так эволюционно выделился среди прочего зверья? Одним-единственным: плотность связей и взаимозависимостей в человеческом обществе сильно выше, чем в любой звериной стае. Если договаривать до конца, то **человеческое общество начало эволюционировать примерно в ту же сторону, что и некоторые «коллективистские» насекомые вроде пчёл или муравьёв**. В биологии это называется «конвергенцией» — когда один вид начинает использовать «технические решения», уже когда-то реализованные совсем другими видами. Например, дельфины

похожи на рыб и акул, хотя они млекопитающие и с рыбами не имеют ничего общего. Просто, решая сходные задачи, природа пришла к сходным решениям. Так и здесь: эволюция млекопитающего сделала загиб к инсектам — «вот и вышел человечек».

Для того, чтобы подчеркнуть «насекомую» природу человеческого роя, Зиновьев придумал смачное словцо «**человейник**» — в значении «элементарное человеческое сообщество, способное к независимому самовоспроизводству». За это его всяко пинали, видя в словце только мизантропический изыск. Зря: Зиновьев пытался «отстраниться» от типовых социологических штампов и сделал это довольно успешно. Подходящим синонимом для «человейника» была бы «орда», «триба», но они не выражали бы этот сверхусложнённый, «насекомий» характер социума, где разделение функций заходит так далеко, как это имеет место у муравьёв или термитов, или ещё дальше.

Человейник, однако, ещё не является «обществом». У него есть предел сложности, ограниченный родовым характером его. **Общество**, по Зиновьеву — это следующая стадия развития человейника, а именно — **человейник, организованный не по родственным признакам**. Простейшее общество возникает благодаря общей угрозе. Эта угроза может быть внешней (например, природной: всем приходится бороться с какой-то опасностью) или внутренней.

Постоянно присутствующая внутренняя угроза обитателям человейника, с которой они вынуждены бороться и с которой вынуждены считаться, называется властью.

XV

Зиновьев, рассуждая в своих поздних произведениях о сущности власти, придерживается, по сути, очень традиционного её понимания — как *необходимого зла.* Однако он настолько близко сводит обе стороны этого определения, и одновременно настолько радикально подчёркивает их радикальную несовместимость, как это мало кому удавалось.

Модель власти, как её понимает Зиновьев, такова. Власть возникает как угроза (например, угроза завоевания — ожидаемого или уже состоявшегося). Однако, эта угроза вынуждает людей *сплачиваться ради её отражения.* Это состояние сплочённости, основанное не на родственных связях, а на

банальном инстинкте самосохранения, оказывается чрезвычайно полезным: благодаря таким благам, как дисциплина, чёткое разделение обязанностей, и так далее, человейник начинает шевелиться куда эффективнее, чем раньше, причём не только в деле отражения угрозы, но и во всех делах вообще. Возникает полезное напряжение, от которого — как осознаёт в какой-то момент социальный организм — и не нужно избавляться. Это заноза, которое не следует вынимать.

Например. Некие завоеватели захватили человейник — какое-нибудь племя, например — и заставили это племя себя кормить. Несчастным завоёванным пришлось добывать больше еды. Это потребовало совершенствования орудий охоты, появление земледелия и т.п. В конце концов, выясняется, что достигнутый прогресс перекрывает и собственные потребности в пище, и аппетиты захватчиков. Племя начинает процветать. Власть, однако, свои аппетиты увеличивает… и так далее.

На то же самое, впрочем, можно взглянуть и с другой стороны — а именно со стороны потребностей людей в единстве. Тогда картинка получается такой. Некоторые частные интересы людей могут быть удовлетворены только в хорошо организованном обществе. Если таких людей много, то можно сказать, что существует общественная потребность в единстве. Какие-то люди — опять же исходя из своих частных интересов — начинают эксплуатировать эту потребность в единстве, стремятся «сесть на это важное место», чтобы поживиться, похарчиться.

То есть. Потребность общества в единстве — реальная и очень достойная потребность (что все понимают). Удовлетворяют её, как правило, жулики и мерзавцы (что все видят). Проблема в том, что именно их мерзость и оказывается полезной — разумеется, в отмеренных дозах.

Модель, как мы видим, несложная. Но выводы, которые из неё следуют, тривиальными назвать нельзя.

Например. *Власть не является источником порядка,* как она сама себя рекламирует. «Порядок и дисциплина» возникают как *реакция* на угрозу, которую представляет собой власть. В дальнейшем власть, впрочем, присваивает себе порядок как ценный ресурс. Впрочем, тот же порядок играет и роль ограничителя власти… Как бы то ни было, **претензии «верхов» на то, что они что-то упорядочивают — не более основательны, чем претензии бациллы на то, что она способна вырабатывать тепло**. Да, больной человек температурит — но это *реакция организма,* а не результат тепловыделения самих бацилл. Человейник отвечает на постоянную угрозу со стороны властей повышенной выработкой

порядка. Власть — это «полезная болезнь», нужная именно в качестве таковой. Правда, в любой момент власть может съехать с катушек и начать бузить и куражиться — ранний Зиновьев, как уже было сказано выше, об этом много писал.

Или вот. Власть полезна именно тем, что вызывает к жизни самоорганизацию общества — формы которой она в дальнейшем *приватизирует в свою пользу*. Однако она же может и уничтожать все проявления организованности, потому что полагает — с полным на то основанием — что они проявляются прежде всего для противодействия ей самой. При этом она сама остаётся ни с чем: самоорганизовываться, особенно в позитивном ключе, власть не умеет. Она может присваивать себе — копировать и реплицировать — те формы организации, которые общество выработало в качестве ответа на хаотизирующие действия власти. Отсюда и конечный неуспех всех серьёзных попыток «лютой тирании»: истребив все формы противостоящего себе порядка[11], очередной тиран убеждается, что порядок куда-то пропал, «контролирующие контуры» сбоят, а завинчивание гаек не помогает, потому что гайки винтить не на что[12].

Ещё один интересный вывод: о «*свободолюбии северных народов и их неспособности к государственности*» — тема, знакомая ещё Аристотелю. Если люди сплачиваются против *природных* угроз — голода и холода — то заноза в заднице ему просто не нужна. В ситуации предельного трындеца, когда человейник находится перед постоянной угрозой немедленной гибели (как на Крайнем Севере, например) никакая «государственность» возникнуть не может в принципе. Зато в краях, где зреют апельсины, зреют также и изощрённые деспотии… Дальше можно было бы порассуждать, с этой точки зрения, о России и Европе (с понятными выводами), но это уж мы предоставляем проницательному читателю. «Тут всё ясно».

Подведём итоги. Общество — это «человейник», в котором существует власть. Власть — это постоянный внутренний раздражитель, заставляющий людей сплачиваться и организовываться для борьбы с властью и минимизации наносимого ей ущерба. Дальше начинаются сложные игры общества и власти (Думаю, многие уже вспомнили про «диалектику раба и господина». Да, «это сюда же». Другое дело, что Зиновьев практически никогда не ссылался на Гегеля и вообще невысоко ставил немецкое витание в облаках), в результате которых в обществе выделяются и структурируются три сферы: экономическая, коммунальная и менталитетная.

Напомним построения раннего Зиновьева. Открыв сферу чистой коммунальности — то есть борьбы за место и борьбы с

борьбой за место — он, несколько увлёкшись открывшейся картиной, представил экономику и «духовность» в качестве двух ограничителей коммунальных страстей. Но со временем он стал аккуратнее. Он начал рассматривать ограничители коммунальности — экономику и духовность — не как «тормоза» на пути коммунальных инстинктов, а как самостоятельные сферы бытия (в терминологии позднего Зиновьева — «деловой», «коммунальный» и «менталитетный» аспекты социума).

В результате получилось, что возможно существование двух типов организации: социумы с опорой на коммунальные отношения (**коммунистические**) и на экономические отношения («**западнистские**», если использовать его термины). Правда, это касается не всех обществ, а тех, которые уже достаточно продвинулись по эволюционной шкале — на пути от общества как такового к…

Стоп. Нам нужно сделать ещё одну остановку и рассмотреть зиновьевские воззрения на социальную эволюцию.

Общества развиваются. Некоторым, впрочем, кажется, что они куда чаще деградируют. Так или иначе, они меняются во времени. Значимы ли эти изменения? Можно ли говорить о какой-то эволюции обществ, или «человейник есть человейник, как его не назови»? И если всё-таки можно, то в каком смысле?

Здесь придётся обратиться к теме времени как такового.

Проблемой физического времени Зиновьев занимался ещё раньше. (Пресловутое «решение парадокса Зенона» по Зиновьеву состояло в признании существования конечных частей времени и пространства, «атомов пространства» и «атомов времени»). Что касается социального и исторического времени, то Зиновьев, обратившись к этой проблеме, чётко отграничил социальное время от физического.

Потопчемся немного на этой теме: это важно.

Зиновьев вводит как исходное понятие «*социального настоящего*». Для него это не абстрактная точка, которую индивид ощущает как «пребывание-здесь-и-сейчас». «Для социального субъекта физическое настоящее не есть лишь миг, не имеющий протяженности. Для него это — протяженный временной интервал, в котором он рассчитывает и совершает свои действия так, как будто время не уходит в прошлое и не приходит из будущего, как будто время есть нечто застывшее. Эту свою жизнь он считает настоящим по отношению к тем событиям в физическом прошлом, о которых он помнит или узнает от других, но которые не принимает в расчет в настоящем, а также по отношению к событиям, которые мыслимы в физическом будущем и с которыми он тоже не считается как с реальностью в

его настоящем. Для него настоящее время неразрывно связано с его определенным состоянием, определенным образом его жизнедеятельности. Именно факторы этого состояния определяют границы его социального настоящего в физическом времени» («На пути к сверхобществу»).

Это определения. За ними у Зиновьева следует то, что можно назвать *темпоральной аналитикой социальности* — из которой, в частности, выясняется, что социальное время может растягиваться, сжиматься, в некоторых случаях даже идти вспять (когда события прошлого, было списанные, реактуализируются). Но главный вывод таков — прошлым, настоящим и будущим можно *владеть*. То есть — планировать, размечать, что-то с ними делать.

Предобщество владеет только социальным настоящим. Оно живёт в магическом кругу «того, что вечно длится сейчас». Таковы общества, которые мы называем «примитивными» и «родовыми». Зиновьев на это замечает, что масса человейников и посейчас существует именно в этом режиме.

Дальше по эволюционной шкале продвинулось «**собственно общество**». Это человейник, овладевший своим прошлым. У него есть социальная память, он умеет сохранять и приумножать опыт, он может даже манипулировать прошлым[13]. Таковы все известные нам «крупные общества», прежде всего государства.

Наконец, есть третий, высший тип общества. Зиновьев называет его **сверхобществом**.

Это, пожалуй, самое мистифицированное и плохо понятное понятие из всех тех, которые навводил Зиновьев в своих сочинениях. Некоторые воспринимают «сверхобщество» как другое название «постиндустриального социума». Другие, более проницательные, вспоминают некоторые запретные книжки, повествующие о тайных силах, управляющих современным миром. Большинство же — включая читателей — просто махают рукой: «ну, тут старичок чегой-то начудил, мало ли, неинтересно». «Знаем мы этот неинтерес», ага-ага.

Сам Зиновьев описывает «сверхобщество» довольно подробно. Это социум, научившийся *управлять собственным социальным будущим* — точнее, проектировать его. Это не значит, конечно, что будущее обязательно совпадёт с проектом — никто не отменял всяких случайностей и катастроф. Тем не менее, будущее как социальный конструкт будет находиться в руках людей. Точнее, той узкой прослойки людей, которые образуют мозг сверхобщества: всепланетной гипераристократии.

Предобществ было очень много. Обществ — меньше. **Сверхобщество — одно**. Это глобальный безвыходный

человейник, поглощающий все остальные человейники, как Зевс поглотил «всех богов и Космос». Зиновьев высказался так: «*В наше время во всех аспектах человеческой жизни уже не осталось никаких возможностей для автономной эволюции человеческих объединений в течение длительного времени*». Всё, финита, мир стал единым и останется таковым до конца времён. Выхода нет.

Существовали, правда, две эволюционные ветви, ведущие к сверхобществу, — западный строй («капитализм») и советский коммунизм. Последний обладал множеством реальных достоинств, но Запад сумел его уничтожить первым — а значит, «теперь об этом можно забыть». Впрочем, какие-то кусочки советского опыта Запад пережуёт, переварит и использует в своих целях. Тем не менее, победа западного варианта очевидна, как и участь побеждённых[14].

Впрочем, мы забежали вперёд. До того, как Зиновьев пришёл к таким выводам, была ведь ещё перестройка, возвращение в Россию и много чего кроме.

XVII

Немногие сейчас помнят, с чего начиналась пресловутая «гласность». Между тем, существовало несколько чётких временная границ: «первая ласточка», «развёртывание», «всё всерьёз», дальше — акмэ и последующее обрушение в «свободу слова».

Началом «гласности» сейчас принято считать визит Горбачёва в Ленинград в мае 1985 года, где он без согласования с Политбюро — «сам, мля! без ансамбля!» — разговаривал с населением и допускал всякую «критику». Стали ставиться вольнолюбивые пьески, разговоры про экологию — сменяться разговорами про «экологию общества». Глубоко запрятанные кукиши и дули потихоньку стали наливаться дурной кровью, эрегировать, вытарчивать из карманов. Но всё это было — по Зиновьеву — «настоящее время»: всё можно было в любой момент развернуть всё назад. Это понимали все — и стремались.

Но был и момент, так сказать, ментальной дефлорации — когда стало ясно, что гласность и в самом деле серьёзная штука.

В марте 1987 года все ведущие газеты Запада напечатали **обращение к советским властям от имени десяти эмигрантов**, которые, в ответ на некие приглашения вернуться, потребовали «гарантий необратимости перестройки» и особенно «гласности». Под письмом стояли — в числе прочих — подписи Александра

Зиновьева и его жены.

Ожидалось, что «советские» промолчат и утрутся. Но, к величайшему удивлению всей прогрессивной общественности, оно было перепечатано в советской прессе, в престижных «Московских новостях», вместе с ответом, выдержанном в стиле «спрашивали — отвечаем». Это было, как сейчас выражаются, «знаковое событие». Появление в советской прессе подобного текста было абсолютно невозможным явлением[15].

Казалось бы, скептики посрамлены. Однако на последовавшей за тем пресс-конференции — на которой Бродский манерно заявил, что «рассмотрел бы перспективу возвращения» в случае издания своего ПСС — Зиновьев выступил с резкой речью на тему того, что он не хочет играть в «коммунистические игры» и Горбачёву не доверяет. Дальнейшая эволюция Зиновьева по отношению к «перестройке» стала эволюцией этого недоверия.

Что касается темы «**Зиновьев и Горбачёв**». Если Сталина Зиновьев ненавидел, но считал великим политическим деятелем, то Горбачёва он ненавидел и презирал, хотя считал его правление судьбоносным. В своём последнем интервью, данном радиостанции «Говорит Москва», он сказал, возвращаясь к тем старым делам: «*О том, что будет разрушена советская социальная система, я не думал до 1985 года. В 1985 году, когда Горбачев не поехал на могилу Маркса, а поехал на встречу с Маргарет Тэтчер, я, выступая в прессе, заявил: начинается эпоха великого исторического предательства. С этой минуты дни советской системы были сочтены. Конечно, сразу это было трудно понять, но мысль о том, что конец близок, мне была понятна*».

Несколько раньше Зиновьев говорил ещё откровеннее — называя Горби платным агентом Запада. А ещё раньше — написал «**Катастройку**», которая сейчас читается как скучноватое, но вполне реалистическое описание того, что творилось в последние годки в умирающем Союзе. Поразительно сейчас то, что Зиновьев «это всё знал» — включая, например, обстоятельства воцарения Ельцина. Он, наверное, думал, что пишет свирепую сатиру. Или не думал: действительность слишком часто преподносила ему примеры того, как сатира становилась самой что ни на есть банальностью.

Что касается участия Зиновьева в практической деятельности вокруг «перестройки», то оно было минимальным. Он никогда не пытался что-то возглавить, организовать, принять участие в чём-нибудь многообещающем. Кажется, всего один раз он попытался как-то спозиционировать себя по отношению к происходящему. В журнале «Континент» № 60 (январь 1989) публикуется «**Манифест социальной оппозиции**» — одно из немногих

сочинений профессора в подобном жанре. Ну и никакого манифеста не получилось, — хотя бы потому, что в первом же абзаце Зиновьев откровенно написал, что говорит от себя лично, никакого «мы» за ним не стоит, а сама форма манифеста выбрана «*не из претензии указывать новые пути человечеству, а с целью оттенить литературную форму текста, а именно — его безаппеляционно-декларативный стиль*».

Сейчас, по прошествии семнадцати лет, видишь, насколько здравым и разумным был тот документ. Некоторые темы, заявленные в нём, — например, необходимость освобождения российской оппозиции от западной опёки, призыв к социальному творчеству, опора на российское гражданское общество, — сейчас читаются как список актуальных задач текущего момента. Но тогда всех интересовали другие темы. Например, внедрять ли в Советском Союзе американскую или шведскую экономическую модель, как перестраивать советскую армию под стандарты НАТО, сколько сала съели москали, и как расцветёт свободное Закавказье. Сейчас об этом можно вспоминать только с кривой усмешкой…

В 1990 году Горби вернул Зиновьеву советское гражданство. К тому моменту ценность советского гражданства была примерно как у справки об условно-досрочном: лучше, чем ничего, но в приличное место с таким документом не пустят. У Зиновьева были документики почище, так что за справкой он не зашёл. (К тому же его супруга была беременна, так что всерьёз думать о возвращении на пепелище Родины не приходилось).

Когда в 1991 году всё рухнуло, Зиновьев отнёсся к этому как к вещи абсолютно ожидаемой: «а чем это всё ещё могло кончиться». Правда, он был попрозорливее прочих — в частности, отнюдь не поверил тому, что «совок сдох» и сейчас наступит рыночное изобилие. В 1992 году, после вручения ему в Риме Международной литературной премии «Тевере», он публично заявил, что не верит ни в какой «успех российских реформ» и что оные реформы закончатся национальной катастрофой. Тогда же он заявил, что единственными великим российским политическим деятелем следует считать Сталина. В его устах это отнюдь не было похвалой и уж тем более выражением симпатии, но чистая публика была изрядно фраппирована.

Примерно с того же времени Зиновьев начинает печататься в России. Точнее, его начинает печатать немногочисленная оппозиция, по старой памяти именовавшая себя «патриотической». Тем более что тон этих выступлений был решительно скандальным: старый антисоветчик принялся за масштабную апологию «совы».

XVIII

О «красном Зиновьеве» сейчас принято говорить с этакой наигранной брезгливостью — примерно так же, как стали говорить о Солженицыне в известных кругах после «двести вместе». Передаётся эта брезгливость наложением умело подобранных интонаций в диапазоне от «маразматика» до «стукачка», с обычным в таких случаях промежуточным жу-жу: «да он же алкоголик, все знают», «рыло у него какое-то бабье», и т.п.

Всерьёз обсуждать эти словесные выделения мы, конечно, не будем. Но за их вычетом остаётся законное недоумение: как же так? В конце концов, кто, как не Зиновьев, обнаружил корни и суть коммунистического режима — его коммунальную природу? И после этого — «**Нашей юности полёт**», апология Сталина, сотрудничество с КПРФ и похваливание Зюганова? Воля ваша, профессор, но когда-то вы были неправы. Если сейчас, то мы лучше не будем вас слушать. А если тогда раньше, то ваше имя и какая-никакая популярность была основана на фигне, и вы — дутая фигура, isn't it? В таком раскладе слушать вас тем более не имеет смысла. «Так что».

Что ж, разберёмся, почему старый профессор поставил на кон свою репутацию.

Начнём с того, что о *достоинствах* советского коммунизма Зиновьев начал писать задолго до его гибели. Советский интеллигентный читатель, будучи существом трогательно наивным, принимал соответствующие пассажи за «иронию», а зря. Как раз в этих вопросах профессор всегда старался быть максимально серьёзным. Другое дело, что похвалы Зиновьева были, на первую пробу, странноватыми.

Тут нам снова придётся чуть придержать спорый бег текста: здесь, как в пошлом анекдоте про Чапаева и Петьку, «нюанс».

Поясним, что мы имеем в виду.

Когда ностальгию по СССР всё-таки разрешили, довольно быстро сформировался список того, по поводу чего можно и нужно вздыхать. Это, прежде всего, «статус сверхдержавы», «социальные завоевания», школы — больницы — пенсия, открытые подъезды и отсутствие железных дверей, возможность слетать в Баку, Вильнюс и Владивосток без паспортов и с трёшкой в кармане, и всё такое прочее. «Это всё понятно» и принимается без особых возражений.

Но никто не скажет, например, о том, что Советский Союз

был *более свободной* страной, чем та же Америка. Все ведь знают, что у нас «подавляли свободу слова» — да, на фоне всего хорошего, но всё-таки. Ведь в газетах нельзя было ругать Брежнева, да и в частном разговоре тоже опасались — могли быть неприятности. Был даже специальный анекдот на эту тему — как американец говорит, что может выйти на лужайку перед Белым Домом и крикнуть, что Рейган — дурак, а советский ему отвечает, что он тоже может пойти к Кремлю и крикнуть, что Рейган — дурак (тут полагалось смеяться). В общем, всем очевидно, что со свободой слова при «сове» было херовато.

Зиновьев же, обращаясь к этой проблеме, подходит холодно и научно. Прежде всего, говорит он, если мы определяем свободу слова как свободу критиковать вышестоящих (что ж, почему бы и нет, мера не хуже прочих), то следует учитывать *всех* вышестоящих, а не только первых лиц государства. То есть нужно смотреть, имеет ли человек возможность назвать дураком не только «президента» или «генсека», но и, скажем, своего непосредственного начальника, начальника рангом повыше, местные власти, и т.п. вплоть до первого лица. Мерить — так по-честному.

Идея вроде бы банальная. Но как только мы начинаем смотреть на «реальный коммунизм» и «реальный капитализм» через эту оптику, выясняется, что на Западе свобода ограничивается как раз возможностью критиковать далеко сидящих больших дядей, зато там процветает совершенно животный страх перед непосредственным начальством. Сам Зиновьев не раз поражался тому уровню трусости и лизоблюдства, который демонстрировали на его глазах «свободные западные люди». На этом фоне советский работяга, посылающий бригадира, казался дартаньяном.

И советская система подобную свободу поощряла — разумеется, в рамках, но эти рамки были достаточно широкими. На начальство можно было жаловаться, ходить по инстанциям, писать в газеты и т.п. У трудящихся были права — в частности, неудобного человека было довольно сложно уволить. Конечно, давление на подчинённых оказывалось, но если уж сравнивать, то сравнение — далеко не в пользу «цивилизованных стран».

Разумеется, на приведённое выше рассуждение есть что возразить. Но назвать сказанное идиотизмом всё-таки нельзя: это вполне корректно выстроенная модель.

Теперь представьте себе, что вы не читали последних четырёх абзацев, а я написал бы на их месте что-то вроде «Зиновьев писал, что советское общество более свободно, чем западное, и в этом был прав». Что бы вы подумали обо мне и о Зиновьеве? «Вот то-

то».

В этом и состояла проблема. Зиновьевская апологетика советского строя была понята большинством ещё меньше, чем его критика. Поскольку же объясниться с публикой Зиновьев толком не мог, то разговорчики про «маразм» и «нутро полезло» как бы даже и проканывали.

Но это ещё не всё. Зиновьев сравнивал «реальный коммунизм» не столько даже с западным развитым капитализмом (про который он, кстати, писал, что с середины века это слово — «капитализм» — потеряло всякий смысл, и называл европейские порядки «западнизмом», чтобы не смешивать), сколько с тем социально-политическим строем, который воцарился в России после краха коммунизма.

Сейчас почему-то мало кто отдаёт себе отчёта в том, что советскую власть ликвидировали не как-нибудь, а советскими же методами — да и россиянскую «эрефию» построили ими же. Всем застила глаза «рыночная экономика» (про которую всю правду знали только те, кого бросили на этот участок) и «свобода слова» (здесь иллюзий было больше, но, в конце концов, они тоже протухли). «С самого Запада» это было не видно совсем. Тем не менее, Зиновьеву застить глаза было сложно. Он никогда не рассматривал 1991 год как начало строительства в России «западного общества». Напротив, он считал, что установленный здесь (с согласия и при помощи Запада) режим к реальному западному обществу никакого отношения не имеет. Под видом «рынка» и «демократии» здесь выблядился особо отвратительный вид мутировавшего «совка».

Сам Зиновьев обзывал этот режим «рогатым зайцем» и «социальной дворняжкой» — имея в виду гибридный характер российского режима. Родись он попозже — и, соответственно, читай он сказки Памелы Трэверс про Мери Поппинс — то, скорее всего, припомнил бы пса Варфоломея, «наполовину эрдельтерьера, наполовину легавую, «причем обе половины были худшие». Зиновьев, правда, усматривал в российских порядках три источника и три составные части — худшие черты советизма, худшие черты западнизма (завезённые извне), и, наконец, тщательно реставрируемые худшие черты дореволюционного российского общества. Получившаяся тварь, одновременно гнусная и жалкая, была, конечно, совершенно нежизнеспособна сама по себе, — но этого от неё и не требовалось. Запад, контролирующий Россию, установил здесь именно такой режим не для того, чтобы русским стало хорошо, а совсем даже наоборот.

При этом Зиновьев не считал поганые россиянские порядки

чем-то «эволюционно возникшим» из «совка». Это именно искусственный, навязанный извне порядок, бесконечно худший, чем любой, самый страшный «совок» — который на его фоне и в самом деле выглядит как нормальный, человеческий строй, не лишённый недостатков, но имеющий за собой свою правду и свои неоспоримые достоинства.

Что касается отношения к своим прежним взглядам, то Зиновьев постоянно повторял: «нет, я был во всём прав». Добавляя при этом, что, знай он о том, как оно всё кончится, не написал бы никаких «Высот», вообще ни строчки не написал бы — просто чтобы не соучаствовать в убийстве страны. Ему же принадлежит печально знаменитый афоризм *«целились в коммунизм, а попали в Россию»*. Кажется, эту фразу ему не простили ни бывшие диссиденты, ни бывшие коммунисты.

И при таких раскладах он всё-таки решил вернуться.

XIX

Первый визит Зиновьева в Россию состоялся по невесёлому поводу — он пытался исхлопотать себе российскую пенсию с ветеранской прибавкой. Это, кстати, к вопросу о преуспеянии на Западе: жалкие российские рубли были для него не лишними. К тому моменту Зиновьев был основательно отжат от всех возможных кормушек-поилок, более того — существовал в режиме негласного остракизма со стороны эмигрантской общественности.

Потом, в 1997 год, состоялся уже подготовленный десант на российскую почву: тогда Зиновьев уже дружил с коммунистами. Визит был, как теперь говорят, насыщенный — он ездил по стране, встречался с людьми, читал публичные лекции. Даже говорил «тёплые слова», к чему не имел привычки — например, хвалил какие-то костромские красоты, признавался в любви к русской природе, ещё что-то такое… А 30 июня 1999 года он вместе с верной женой собрал манатки и перебрался на ПМЖ в Москву. Дети остались на Западе: одна дочка вышла замуж, другая оказалась с музыкальными способностями. Зиновьев с собой никого не звал: «это их жизнь»[16]. На вопрос «зачем приехал», Зиновьев отвечал так: «*Мой народ оказался в беде, и я хочу разделить его судьбу. Что я могу здесь сделать для моего народа? Я десятки лет работал как исследователь и социальных процессов, и исследователь самого это фактора понимания, о котором я говорю, я много сделал. Я хочу передать это моему*

народу, по крайней мере, тем, кто хочет это получить от меня и как-то использовать».

Как использовали Зиновьева на самом деле — отдельная и не очень приятная тема, но коснуться её придётся.

По россиянским меркам, Зиновьев был почтенным человеком, хотя бы потому, что имел какую никакую западную известность, легитимизирующую его фигуру в качестве авторитетной. Кроме того, в России у него оставались друзья, читатели, а то и почитатели. Он был «устроен по быту»: Садовничий, ректор МГУ, помог ему с квартирой, поселив его прямо в здании Университета. Он имел возможность говорить — читал лекции в МГУ (ему там выписали звание именного профессора, «это честь»), вёл курс в Литинституте, много выступал на публике. У него охотно брали интервью самые разные издания, от «Завтра» до «Комсомольской правды». Он публиковал свои книги, начиная от классических «**Высот**» и кончая учебниками. «Центрполиграф» стал выпускать 10-томное издание его работ. Осенью 2002 года в московском Домжуре прошла выставка картин Зиновьева. «Востребован», типа.

По сути же, Зиновьев так нигде и не стал своим.

На философском факультете — где, казалось бы, ему самое место — ему предложили «что-то почитать»… на кафедре этики. Он согласился — всё же трибуна. В конце концов, на другой базе и с другими людьми, был созан «зиновьевский центр» — это сделал Игорь Ильинский, ректор Московской гуманитарной академии, Зиновьева к себе пригласивший[17]. Но в целом «российские интеллектуалы» воспринимали Зиновьева как «ваньку», который не умеет высокопарно блекотать, не цитирует Фуко и Маркузе, в общем, не владеет теми умениями, кои приличны независимо мыслящему существу. Негламурные зиновьевские конструкции нельзя было использовать в «дискурсе». На Зиновьева не ссылались, его слова не обсуждали, само упоминание его имени не поощрялось. Это был глухой, молчаливый и непрошибаемый консенсус: «нет такого».

Отдельного упоминания заслуживают разросшиеся развалины Московского логического кружка. Как уже было сказано, «щедровитяне» — к тому моменту превратившиеся в секту, впрочем, весьма успешную, — чтили ранние труды Зиновьева, прежде всего его диссертацию по диалектической логике, как неотъемлемую часть святого методологического писания, «основного корпуса». Поздний Зиновьев для них был, если искать сравнений, чем-то вроде Бакунина для марксистов. Зиновьев же считал Щедровицкого и щедровитян в лучшем случае «ушедшими не туда», в худшем — просто обалдуями. Хотя в 2003

Зиновьев поучаствовал в «двойном интервью» вместе с Олегом Анисимовым, данным для методологического журнала «Кентавр», в котором признал: «*То, что делал я, не есть отрицание того, что делали методологи во главе с Г.П. То, что делали они, не есть отрицание того, что делал я*» — и тепло отзывался об умершем Георгии Петровиче. Молодые щедровитяне интервью предсказуемо обхамили: им не понравилось, что старик «много о себе понимает». Некий Зинченко тут же донёс до сведения интересующихся, что Зиновьев Щедровицкого на самом деле ни капельки не уважал и однажды даже высказался про него так: «Георгий Петрович разрабатывал один маленький раздел из моей кандидатской диссертации. Но был при этом крайне ленив и неработоспособен, поэтому ничего путного сделать не сумел…» Не знаю, что на это ответил Зиновьев — скорее всего, оценил проявившийся уровень коммунальности и больше не связывался с птенцами гнезда.

Коммунисты, в которых Зиновьев видел одну из немногих сколько-нибудь позитивных сил в России (в 1996 году он призывал голосовать за Зюганова — хотя, конечно, в тот момент абсолютно все сколько-нибудь приличные люди голосовали за Зюганова против упыря-ЕБНа), так и не признали его своим — хотя легко отказались и от марксизма, и от много чего ещё. Зиновьев говорил: нужно бросить все силы партии на создание, развитие и пропаганду новой социальной теории, которая способна заменить марксизм[18]. Коммунисты вежливо кивали, а про себя думали — «надоть проще, у нас бабки в электорате, им про колбасу надоть по два-двадцать, вот и будет хорошо». Чем это кончилось, мы знаем.

Да, ещё про книжки, это ведь тоже важно. Издавать Зиновьева в России начали довольно поздно: после Платонова и Набокова, но до Солженицына. Вроде бы первыми вышли «**Зияющие высоты**», каким-то безумным по нынешним меркам тиражом. Книга, кажется, хорошо продалась: тогда ещё читали. Чёрный центрполиграфовский «**Коммунизм как реальность**» с крысами на обложке лежал в магазине «Москва» довольно долго: это был уже 1994, тридцатитысячный тираж (ничтожный по советским меркам) уже был не под силу массовому потребителю. «**Исповедь отщепенца**» — 2005, «Вагриус», серия «Мой XX век», «все дела», — прошла пятитысячным. «Фсё, приехали». Последнее, впрочем, не к Зиновьеву относится, а к любому «интеллектуальному» чтению в стране, где за умняк канает Дэн Браун, а за духовку — Коэльо. Чего уж теперь-то…

В результате, мысль Зиновьева так и осталась без ауры «разговоров вокруг», доброжелательного обсуждения, да и

недоброжелательного, но всё-таки обсуждения. Он вроде что-то говорил, его даже слушали — но не считали нужным принимать всерьёз. Зиновьев тоже, конечно, давал к тому повод — и высказываниями (не всегда умными и не всегда осторожными) и бытовым поведением…

Что касается собственно политических симпатий Зиновьева, тут всё было просто. Ельцина он вообще не считал разумным существом, Путину сперва симпатизировал (не он один, ага), потом, когда пошёл второй срок и «всё стало ясно» — высказывался про него точно и зло. Но в целом всю постперестроечное реалити-шоу он оценивал как предсмертные судороги убитой страны, — которую не только соскоблят с лица земли, но сотрут и память о ней (в этом Зиновьев был уверен).

XX

Зиновьев всегда отрицал какие бы то ни было внешние на себя влияния. Это отрицание было для него принципиально: нет никаких наводок, каждое моё слово — это лишь обобщение тщательно проверенных фактов, всё здание построено с нуля.

Даже если так, это не отменяет того, что творчество Зиновьева является частью интеллектуальной традиции, опирающейся на определённые представления о человеке и человеческом обществе.

Disclamer. То, о чём пойдёт речь дальше, ни в коем случае не является «синопсисом философии Зиновьева» — или хотя бы корректным изложением его взглядов. Скорее, это попытка проекции «зиновьевства» на определённую интеллектуальную традицию — точнее, на тот образ человека, который был ею построен и принят.

Как известно, вид приматов, именующий себя Homo Sapiens, занимает вершину пищевой пирамиды. Это значит, что люди едят всех, кого хотят, а их не ест никто. Это компенсируется тем, что человек как вид является хищником по отношению к самому себе: люди едят друг друга. Не обязательно в буквальном смысле — хотя гениальный Борис Поршнев (творивший в рамках той же самой традиции) считал, что именно с этого всё и началось. Речь идёт об уникальной человеческой способности рассматривать других людей — существ своего вида — в качестве жертв. «Человек человеку волк» и есть идеальное определение того, что такое человек. Это задано биологически. Люди хотят охотиться на других людей потому, что *в крови чешется,* а не из каких-то там

рациональных соображений.

Однако рационализация этого желания сделало возможным величайшее достижение вида Homo — **эксплуатацию человека человеком**. По сути, эксплуатация есть разновидность каннибализма: человек в буквальном смысле *заедает жизнь* других людей, *кормится ими* — пусть не их телом, но их трудом и страданием. Впоследствии то же отношение — эксплуатацию — человек впоследствии перенёс на животных, потом на неодушевлённую природу и на мир в целом.

Итак, казалось бы, у человека как индивида есть две врождённые стратегии поведения — исполнение роли хищника-угнетателя и жертвы-угнетаемого.

Почему хорошо быть хищником, и так понятно. Почему это опасно, тоже. Но надо сказать, что в человеческом случае роль жертвы — поскольку она в большинстве случаев бескровная — тоже имеет свои преимущества. Жертв всегда больше, чем хищников, их и должно быть больше, иначе хищникам некем будет питаться. Жертвы вполне могут плодиться и размножаться — а иногда жить дольше хищника. Хорошая, умная жертва всегда умеет подставить вместо себя другую жертву — выпихнуть льву на съедение слабейшего или просто зазевавшегося, а самому спрятаться за чужую спину[19]. Это умение, усиленное разумом и сублимироанное, называется *умением жить,* а совокупность соответствующих практик составляет основу коммунальности как таковой.

Но у жертвы есть ещё две возможности. Первая — каким-то образом присоединиться к настоящим хищникам, занять близкое к ним место в пищевой пирамиде, хотя бы питаться их объедками в обмен на полезную службу, в основном сводящуюся к заманиванию и обману жертв (эту тему мы здесь развивать не будем, несмотря на всю её важность для понимания реалий современности). И вторая — каким-то образом научиться давать отпор хищникам, не становясь хищником: *отказаться* быть жертвой.

Это делит людей на четыре подвида. Первый — хищники, «**львы**»: их стратегия — насилие, их стратегия — сила и жестокость. Второй — спутники хищников, «**стервятники**», их стратегия — служение хищникам и расчётливое выманивание объедков, их стратегия — врождённая и отточенная в поколениях хитрость. Третий — собственно жертвы, «**тельцы**», их стратегия — массовость и умение прятаться друг за друга, их путь — низость.

И, наконец, иногда рождаются люди, которые являются людьми в собственном смысле слова — не являющиеся

хищниками, но отвергающие играть роль жертв. Уже упомянутый Поршнев называл их «**неоантропами**».

Их мало и собственной разработанной стратегии поведения у них нет — во всяком случае, пока. Хотя есть некоторые основания полагать, что «развитие идей добра и справедливости» (в том числе и социальной справедливости) есть растянутый процесс постепенного становления стратегии нео — «жить в обществе и быть свободным от общества», то есть *построить* такое общество, *от которого можно быть свободным.* Sapienti sat.

Здесь мы снова возвращаемся к Зиновьеву. Его творчество чётко делится на две части: его социология, то есть описание мира с точки зрения нео, и особого рода сочинения — то же «**Евангелие для Ивана**», к примеру — которые можно рассматривать как попытку описания видовых стратегий. Соединить эти две части Зиновьев не мог и не хотел, а напрасно — это сняло бы целый ряд вопросов.

Впрочем, есть подозрение, что дело было не в наивности, но и в определённом расчёте на аудиторию, которую Зиновьев старался не напрягать без особой надобности. Но, например, в одном из своих поздних интервью он вдруг резанул: «*Я вижу единственную надежду для человечества в том, что появится новый человек. Я надеюсь на чудо рождения этого нового человека. Ведь все эти годы шла непримиримая борьба людей практичных, деловых, расчетливых, жестоких, эгоистичных против всего доброго и гуманного, что есть в нас с вами. Я очень хочу, чтобы новый человек выжил, это моя самая заветная мечта*». Если не брать во внимание сказанное выше, трудно понять, о чём это он.

XXI

И последнее. Зиновьев был убеждён, что защищает проигранное дело. Запад объединился и построил систему управления миром. После этого человечеству, какое оно есть и каким стало, уже нет и не будет альтернативы. Новый человек не сможет родиться — поскольку народ, который мог бы дать ему жизнь, обречён.

Когда ему пеняли за такой пессимизм, он не реагировал, а на просьбы «указать какой-нибудь выход» — говорил одно и то же: *«используйте оставшиеся у вас интеллектуальные и творческие силы и возможности так, как вы можете их использовать».*

Последний раз он это сказал 3 апреля 2006 года.

10 мая 2006 года Александр Зиновьев скончался от рака

мозга.

Приложение
Александр Зиновьев скрылся в своих зияющих высотах. Уже навсегда

11.05.2006

Вечером 10 мая на 84-м году жизни после тяжелой болезни (рак мозга) скончался русский философ и социолог Александр Александрович Зиновьев. Похоронен он будет в понедельник 15 мая. Проститься с телом покойного можно будет в здании Московского государственного университета.

Александр Зиновьев родился 29 сентября 1922 г. в крестьянской семье в дереане Чухлома Костромской области. После школы поступил в Московский институт истории философии и литературы, из которого он был исключен без права поступления в другие вузы страны за выступления против культа Сталина. Вскоре он был арестован, бежал, скрывался от органов госбезопасности. От дальнейших неприятностей его спасла служба в армии, куда он ушел в 1940 году и прослужил до 1946 года. Великую Отечественную войну начал в танковом полку, а завершил в штурмовой авиации, за боевые заслуги награжден орденами и медалями. После войны окончил философский факультет МГУ, одновременно учась на мехмате. В 1960 г. Зиновьев защитил докторскую диссертацию, вскоре после этого он получил звание профессора и стал заведовать кафедрой логики в Московском университете. В 1950-60-е гг. Александр Зиновьев по праву считался одним из символов философского пробуждения в СССР.

В 1976 г. после публикации в швейцарском издательстве "Age d'homme" романа "Зияющие высоты" Зиновьев был уволен с должности старшего научного сотрудника и лишен званий доктора философских наук и профессора с формулировкой "За несоответствие должности и званиям" (восстановлен в званиях в начале 1990-х гг.). В 1978 г. Зиновьев был поставлен перед выбором: или 12 лет тюрьмы за антисоветскую деятельность, или отъезд из СССР в пятидневный срок. Философ провел в эмиграции более двадцати лет, но не стал ярым антисоветчиком или врагом СССР и России.

В 1990 г. Зиновьеву было возвращено советское гражданство, несмотря на то, что горбачевскую "перестройку" он встретил в

штыки. В августе 1999 г. философ вернулся из Германии в Москву. В последние годы он читал курс лекций на философском факультете МГУ.

В одном из своих последних интервью Александр Зиновьев заявил, что сожалеет о том, что в своих работах "целился в СССР, а вместо этого попал в Россию". "Но я подписываюсь под каждой строчкой моих книг, потому что все, что я писал, было искренне", - добавил философ.

Зиновьев автор более 50 книг, среди которых "Зияющие высоты", "Гомо советикус", "Запад", "Катастройка", "Русская судьба - исповедь отщепенца", "Гибель русского коммунизма" и др.

Разговоры о преуспеянии Александра Зиновьева в эмиграции - это, конечно, миф. Впервые после эмиграции он приехал в Россию около 10 лет назад исхлопотать себе бумаги к пенсии в качестве ветерана войны. Это было существенным добавлением к его более, чем скромному бюджету.

Сам он связывал свои материальные и прочие проблемы с тем, что, в отличие от большинства диссидентов, перебравшихся на Запад, не стал огульно поливать Советский Союз и, постепенно ознакомившись с жизнью "свободного общества", стал потихоньку критиковать и тамошние порядки. Давить на него не стали, но и помогать прекратили - живи сам, как хочешь, ты ж теперь свободен. Ясно, что немолодому философу устроиться в новой жизни было непросто.

Приехал в Россию Зиновьев, связавшись с тоже уже покойным философом и старым диссидентом (в то время обозревателем газеты "Правда пять") Феликсом Белелюбским. И обнаружил, что его в России никто не помнит и не знает. 20 лет прошло. Забыли.

Феликс Борисович обратился ко мне (я тогда исполнял обязанности заместителя главного редактора) - лично Зиновьева я, конечно, знать не мог, но хотя бы имел представление, кто это такой. Перво-наперво мы отправили за Зиновьевым в аэропорт "Шереметьево" редакционный автомобиль, встретили мало-мальски пристойно. Ф.Белелюбский подготовил для газеты большое интервью, которое было немедленно поставлено в номер.

В тот же вечер я провел с Зиновьевым часовое интервью на радио "Резонанс", а в ночном прямом эфире на Ren-TV с ним встретился В.Кондрашов.

Так Зиновьев вернулся на родину.

Слава богу, в последующие годы А.Зиновьев имел возможность общаться с широкой публикой, был замечен большой прессой. Правда, с запозданием на 20 лет, и эти годы не

получилось компенсировать повышенным влиянием к этой большой личности на ее закате. Конечно, на восьмом десятке очень непросто восполнить то, чего был лишен на шестом и седьмом, в самом творческом расцвете. Больше мы с ним практически не общались, если не считать одновременного участия в каких-то круглых столах и т.п. Не было ни повода, ни особенной какой-то необходимости.

Анатолий Баранов

notes

Примечания

1

Помимо всего прочего, чехи получили ещё один повод для ненависти к русским. Эта волна ненависти была уловлена и прочувствована фибрами «русской» интеллигенции через все границы и кордоны: чехи стали популярны. В марте 69-го года на первенстве мира по хоккею сошлись чехи и советские. Чмошная интеллигентская придурня прилипла к телевизорам — болеть за чехов. Те победили, а после игры их капитан Голонка подъехал к советской сборной, взял клюшку наперевес, как автомат, и «расстрелял» наших игроков. Это вызвало у изряднопорядочных какой-то катарсис.

Причём устраивавшиеся именно *в качестве* фрондёров, а то и прямых врагов. Это стало особого рода карьерой — о чём сам Зиновьев, впрочем, пишет с осторожностью, ибо неким боком сам мог быть отнесён к «этой линии».

3

Впоследствии тот же Дмитриевич взялся, к примеру, издавать позднего Лимонова — он купил у того за пять тысяч франков рукопись романа «Убийства часового», от которого отказались основные французские издательства, жаловавшие Лимонова исключительно в амплуа «эдички».

4

Например. В ЗВ действие происходит в городе Ибанске, в котором все жители носят фамилию «Ибанов». На русском «всё сразу понятно», но найти сколько-нибудь подходящий эквивалент на любом другом языке, да так, чтобы обозначить все аллюзии — начиная с самой распространённой русской фамилии, через литературный образ «города дураков», с косвенной отсылкой к Салтыкову-Щедрину («Ибанск» — явный город-побратим Глупова), и учитывая дополнительные смыслы известнейшего матерного глагола (например, включая значение «ибаться» как «тяжело и напрасно трудиться») — невозможно даже теоретически.

5

Здесь напрашивается цитата из Оруэлла. Сам Зиновьев Оруэлла презирал — но не за «мизантропию», а за дешёвое политиканство и лживость. Так, Оруэлл приписывал несуществующему «ангсоцу» и социализму в целом те милые свойства, которые он лично и сполна хлебнул в самом что ни на есть традиционном английском институте — в закрытой школе для мальчиков (о чём оставил душераздирающее эссе). Впрочем, то же самое делали и советские диссиденты, но не по злому умыслу, а по глупости.

6

Отдельная тема — Зиновьев и водка. Бывший алкоголик, он тонко чувствовал глубокую связь водки (именно водки) и коммунальности. В его рассуждениях на эту тему спиртное выступает как один из характерных механизмов самонастройки социальной машины — причём настройки достаточно тонкой. Эти изыскания (равно как и намётки исследований социальной роли алкоголиков в советском обществе) заслуживают внимания, но сейчас у нас нет возможности уделить этим вопросам сколько-нибудь ощутимое место.

7

Как могло возникнуть такое общество, Зиновьев тогда не очень понимал. Впоследствии, сформулировав концепцию сверхобщества, он нашёл ответ на этот вопрос — но к тому времени его исходная мысль существенно трансформировалась и в результате потеряла ту ясность, которая производила такое впечатление на его ранних читателей.

Это принимало клинические формы. Достаточно вспомнить болезненную брежневскую страсть к орденам и наградам, особенно зарубежным, чтобы понять, откуда здесь ноги растут. Это же, кстати, объясняет неадекватную реакцию «дорогого товарища» на зиновьевские наскоки. Гуманный правитель, почитав про себя «обидное», посмеялся бы и забыл, тиран — убил бы автора и тоже забыл. Для Брежнева главной проблемой было именно что *пережевать* обиду, как-то отработать её. Зиновьев знал, что говорил, когда в первом же своём выступлении на Западе заявил, что Советская власть пострадала от него больше, чем он от неё.

9

Распространённый в те времена эвфемизм для обозначения человека, подозреваемого в недостаточной лояльности к «лучшему на свете народу».

10

Впрочем, точные цифры нигде не приводились, а на прямые вопросы — сколько? — Зиновьев обычно говорил что-то невнятное. Вот характерное место из одного интервью: **Корреспондент**. Какие-то количественные показатели продаж Ваших произведений на Западе доступны? **Зиновьев.** Когда к 70-летнему юбилею пытались получить цифры — не удалось. Дело в том, что было крайне сложно контролировать и тираж, и какое по счету издание. Если бы издатели указывали точные тиражи, им пришлось бы платить гонорары мне и налоги, так что на Западе "нелегальщина" тоже вполне распространена. Тиражи точно указываются тогда, когда они на уровне миллионов и десятков миллионов, а такими тиражами выпускаются преимущественно книги, не имеющие научной и литературной ценности. Очень много было пиратских изданий, о которых я узнавал — если узнавал — постфактум. По официальным подсчетам, книги вышли больше чем на 20-ти языках.

Это, кстати, та самая грань, переход которой отличает «нормальную» власть от ненормальной: уничтожение негосударственных форм порядка, пресловутого «гражданского общества». Не присвоение их себе, не перепрограммирование, даже не попытка их огосударствления, а именно уничтожение.

12

Зато в умном, хорошо устроенном обществе действия власти, ответная самоорганизация и вторичное присвоение властью организационных форм происходит ювелирно, «тютелька в тютельку». Напрашивающийся пример — русская «община». Сейчас уже никто не сомневается, что первично она насаждалась сверху — в целях повышения «доходности чёрных людишек». Одновременно община была использована крестьянами как защитный механизм, «выгораживающий» самых бедных от «тягла» и т.п. Наконец, государство увидело в общине механизм социального контроля над крестьянством и постаралось его использовать в таком качестве… Но здесь мы уже выходим за рамки темы.

13

Кстати сказать: Зиновьев всегда относился к писаной версии истории как к чему-то крайне подозрительному. Познакомившись — уже в России — с трудами Фоменко, он восторженно их принял и называл их «подлинно научным» подходом к истории. (Кого-то, возможно, это шокирует: Фоменко сейчас изрядно дискредитирован. Некоторые, впрочем, считают Фоменко и собравшуюся вокруг него тусовку проектом по превентивной дискредитации любых копаний в хронологии и истории как таковой. Разумеется, такой ход мысли тоже запрещён, как «конспирологический»).

14

Зиновьев считал, что Запад, победив в Третьей Мировой, не просто уничтожит Россию и русских, но и *сотрёт память* о них и особенно об их достижениях. «Здесь ничего не было». Интересно, что некоторые люди понимали всё это «задолго до». Интересующихся можно отослать к роману Станислава Лема «Осмотр на месте», где описано как проектируемое западное будущее, так и судьба остатков Советского Союза.

15

В те времена я был студентом в солидном техническом вузе, где интересоваться «всякими такими делами» было как-то не принято. Тем не менее, несколько дней подряд в библиотеку стояла очередь — спрашивали номер «МН» с пресловутой статьёй. Всем хотелось видеть её своими глазами «и ещё дома рассказать». Я в ту очередь становиться поленился, но значимость момента ощутил вполне.

16

Как, собственно, происходило возвращение Зиновьева в Россию, рассказал Анатолий Баранов: «Приехал в Россию Зиновьев, связавшись с тоже уже покойным философом и старым диссидентом (в то время обозревателем газеты «Правда пять») Феликсом Белелюбским. И обнаружил, что его в России никто не помнит и не знает. 20 лет прошло. Забыли. Феликс Борисович обратился ко мне (я тогда исполнял обязанности заместителя главного редактора) — лично Зиновьева я, конечно, знать не мог, но хотя бы имел представление, кто это такой. Перво-наперво мы отправили за Зиновьевым в аэропорт «Шереметьево» редакционный автомобиль, встретили мало-мальски пристойно. Ф.Белелюбский подготовил для газеты большое интервью, которое было немедленно поставлено в номер. В тот же вечер я провел с Зиновьевым часовое интервью на радио «Резонанс», а в ночном прямом эфире на Ren-TV с ним встретился В.Кондрашов. Так Зиновьев вернулся на родину». Тут уместно вспомнить солженицыновский поезд.

17

Впоследствии Зиновьев стал президентом Русского интеллектуального клуба. Звучит красиво, но понимающие люди сразу скажут, что «контора так себе» — хотя бы потому, что в названии есть слово «русский», абсолютно недопустимым для серьёзной структуры с хорошим бюджетом.

18

Из «проходной» зиновьевской статьи «**Будем реалистами**», посвящённой думским выборам: «Основные усилия нужно сосредоточить на пропаганде, на воспитании населения, для этого использовать сейчас свое присутствие в Думе. Коммунисты играли и играют роль самим фактом своего существования и какого-то заметного участия в общественной жизни. Нужно заняться всерьез разработкой теории, новой идеологии, соответствующей условиям XXI века. С марксизмом два века спустя уже ничего не сделаешь, и нынешним коммунистам сегодня брать на себя ответственность еще и за Маркса, который жил в XIX веке, не стоит. Нужно все внимание отдать тому, чтобы изучать реальный опыт реального советского коммунизма, а не догматического. И нужно пропагандировать этот опыт».

19

Здесь уместно вспомнить одно из самых знаменитых мест в оруэлловском романе «1984», когда главному герою надевают на лицо клетку с голодными крысами: Это было не спасение, а только надежда, искра надежды. Поздно, может быть, поздно. Но он вдруг понял, что на свете есть только один человек, на которого он может перевалить свое наказание, — только одним телом он может заслонить себя от крыс. И он исступленно кричал, раз за разом: Отдайте им Джулию! Отдайте им Джулию! Не меня! Джулию! Мне все равно, что вы с ней сделаете. Разорвите ей лицо, обгрызите до костей. *Не меня! Джулию! Не меня!*